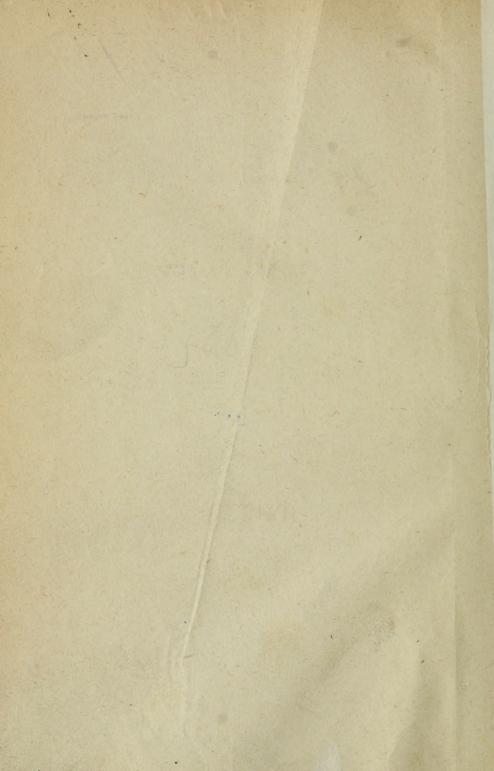


2290yr.

1.1.1. 709. Russische-Ukreinsche Delisihek Alexander Severing Hongolan 10/1x 25 Der Leser kann das Buch Lemgebuhr Cus 2 00





-Unicialsare Inspensel

Alexander Severing

Д. Н. Овеянико-Куликовскій.

Ovstanino Kulikovskii, Dmitrie Mikolaevich

## СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІИ.

томъ первый

# STOTO A SE



ИЗД-Т-Ва "ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА"И КНИГОИЗД-ЖЕ "ПРОМЕТЕЙ," СПБ-1909 Г

PG 3011 08 1909 t.1 Language 821271

#### ОГЛАВЛЕНІЕ.

			CTP.
Введеніе.			3
Глава	I.	"Пушкинское" и "гоголевское". Художественный ме-	
		тодъ Гоголя	35
27	II.	Гоголь какъ умъ	60
- 27	Ш.	Гоголь и Россія "Русь изъ прекраснаго далека".	90
27	IV.	"Душевное дѣло". — Гоголь — моралистъ и мистикъ.	127
,	V.	Гоголь-общеруссь на малорусской основъ. Къ во-	
		просу о національномъ-общерусскомъ значеній его.	148
27	VI.	Заключеніе; къ вопросу о геніальности Гоголя	158
Прило	жені	е: Источники и важнѣйшія пособія для изученія	
	жизн	и и творчества Гоголя	190

yuni son co

#### MINERAL ALTO

one the minimum of the language of the control of t

### Н. В. ГОГОЛЬ.



#### BBEJEHIE.

Біографическій очеркъ и обзоръ литературной д'вятельности Гоголя.

I.

Николай Васильевичь Гоголь-Яновскій происходиль изъ старинной украинской фамиліи. Его отепъ, Василій Аванасьевичь (род. въ 1780 г.), женился въ 1808 г. на Марін Ивановив Косяровской, дочери харьковскаго губерискаго почтмейстера. Ихъ первенецъ, будущій великін писатель. родился въ м. Сорочинцахъ (Полтав. губ.) 19 марта 1809 г. До десяти лътъ онъ учился дома (въ деревив), а пос. гого, въ 1819 г. его пом'ястили, вм'ясть съ младинимъ братомъ Иваномъ 1), у учителя Спасскаго, въ Полтавь; братья гоговились къ поступленію въ гимназію. Въ 1520 г. быль открыть въ Нкжинъ лицей высшихъ наукъ кн. Безбородко, при лисе в была и гимназія, куда Гоголь и поступиль въ 1821 г. Вь 1828 г. онъ окончиль курсь (гимназін и высшихь науков, не давши ему сколько-нибудь серьезныхъ знаній. Въ декабрь (того же года), запасшись рекомендаціями, онь отправился вы Потербургъ искать службы.

Съ января 1829 года начинается нетербургскій періодъ жизни Гоголя, продолжавнійся до іюна 1836 года, когда Гоголь убхаль за гранину. За эта 7 літт. Гоголь усліль панисать почти всё свои произведенія и стяжить славу пернокласснаго писателя. Но, отправлянсь вы Петербургь, онь мечталь не о такой карьері: ему казалось, что ему предстоить другог поприще — на государственной службь, гді его ожидають какіе-то великіе полянги на польку Россіи. Вы чем будуть состоять эти подвиги, онь, конечно, не зналт, що онь

<sup>1)</sup> One Beroph ymen.

быль твердо увѣрень въ своемъ великомъ призваніи и не сомнѣвался въ томъ, что очень скоро опредѣлится та дѣятельность, для которой онъ предназначенъ. А между тѣмъ какой-то инстинктъ толкаль его въ сторону литературы. Онъ привезъ въ Петербургъ свой первый опытъ, начатый еще въ Нѣжинѣ и оконченный осенью 1828 г. Это была идиллія въ стихахъ «Ганцъ Кюхельгартенъ».

Въ настоящее время уже не можетъ быть сомнвнія въ томъ. что въ этой «идплліи» Гоголь воспроизвель свои личныя чувства и настроенія. «Въ ней» — говорить Н. А. Котляревскій-«безспорно были самыя свѣжія воспоминанія и намекп на собственныя думы и впечатльнія, что между прочимъ подтверждается сходствомъ некоторыхъ строфъ этой идиллін съ письмами Гоголя последнихъ леть его лицейской жизни» 1). — Какъ въ то время, такъ и позже (не будеть ошибкою сказать: всю жизнь) Гоголь періодически испытываль непреодолимое стремленіе — біжать, вырваться изъ привычной обстановки, подняться съ насиженнаго мфста и пуститься вдаль, чтобы скитаться по свъту и извъдать новыхъ впечативній. Въ такихъ случаяхъ намъ невольно вспоминаются вѣщія слова изъ XI-ой главы 1-й части «Мертвыхъ Душъ»: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словъ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога!..»

Герой идилліи, Ганцъ Кюхельгартенъ, счастливый женихъ прелестной Луизы, дочери стараго пастора, бѣжитъ отъ своего счастья, бросаетъ невѣсту, покидаетъ мирную жизнь патріархальнаго нѣмецкаго городка, влекомый неудержимымъ стремленіемъ вдаль. Онъ отправляется странствовать. Его манятъ чудеса природы и искусства; онъ стремится посѣтить Элладу и унестись мечтою въ ея славное прошлое. Черезъ два года онъ возвращается—разочарованный въ своихъ стремленіяхъ и сплахъ. Онъ состарѣлся душой, убѣдившись въ томъ, что тотъ, кто не призванъ къ великому поприщу, долженъ спокойно сидѣть на мѣстѣ, довольствуясь скромной долей и тихимъ счастьемъ. Онъ успокоился, отказался отъ романтическихъ грезъ и нашелъ свое счастье въ бракѣ съ Луизой...—Такова исторія

<sup>1) &</sup>quot;Н. В. Гоголь", Н. Котляревскаго (Спб. 1903), стр. 10—11. Здѣсь же Н. А. Котляревскій говорить, что В. П. Шенрокъ даль убѣдительные примъры такихъ совпаденій ("Матеріалы для біографіи Гоголя", І, 159) и тѣмъ самымъ рѣшилъ вопросъ и объ оригинальности "Ганца".

Ганца. Но не такова будеть исторія Гоголя: вычный странникь, вычный искатель «великаго ноприща», которое ему предопреділено, онъ проживеть свою жилнь «белсеменнымъ путникомь», не номышляя о тихомь счасть в, объ ують мирнаго, безвістнаго существованія...

Вскорв по прівздв въ Петербургь, Гоголь издаль этотъ юношескій опыть подъ исевдонимомъ Алова 1). Пеблагопріятные отзывы критики (Полевого, въ № 12 «Моск. Телеграфа» 1>29 г. и критика «Съверной Пчелы», № 87 того же года) заділи за-живое самолюбиваго автора. Гоголь отобраль изъкнижныхъ магазиновъ всв экземиляры и сжегъ ихъ.

Онъ сжегъ «идиллію», но страсть, воспроизведенная въ сожженныхъ стихахъ, овладьла имъ съ новой силой: его потянуло вдаль. А кстати подвернулись и деньги, присланныя ему матерью для взноса въ опекунскій совѣтъ. Онъ рѣшаетъ истратить ихъ на путешествіе и нишетъ матери, что иначе поступить не могъ, что неудачи (въ поискахъ за мѣстомъ) и внезанно возгорѣвшаяся любовь заставили его «бѣжатъ отъ самого себя», и наконецъ, что во всемъ этомъ явно сказывается перстъ Провидѣнія... Неудачи, о которыхъ онъ говоритъ, едва ли могли побудить его къ быству лотъ самого себяр. Неудача съ «идилліей» (о чемъ онъ умалчиваетъ) также не была достаточнымъ основаніемъ для быства. Что же касается любви, то, какъ это дознано, онъ просто выдумаль ее: пиклюй любви не было 2). Здѣсь впервые мы встрѣчаемся съ одною изъ тѣхъ выдумокъ, какихъ не мало находять въ письмахъ Гоголя...

Итакъ, онъ вдругъ бросилъ все и увхалъ. Онъ отправилел моремъ и 1-го августа (1829) быль уже въ Либекъ, откуда опять пишетъ матери, приводя уже новую причину отъблас онъ былъ боленъ, на лицъ и на рукахъ обларужилась сыпъ, доктора посовътовали ему «пользоваться водами» въ Травемюнде, въ 18 верстахъ отъ Любека. Полже его прілгель А. С. Данилевскій, съ которымъ онъ жиль въ Истербургъ въ

1) "Ганцъ Комедьсартень", идилиц въ вертинахъ. Сет. В. Алона. С.-Петербургъ. 1829 г.

одной квартирѣ, сообщалъ, что никакой сыпи у Гоголя и е было, и что онъ поѣхалъ тогда вовсе не лѣчиться, а думалъ совсѣмъ покинуть Россію и уѣхать въ Америку. Тѣмъ не менѣе бѣглецъ все-таки побывалъ въ Травемюнде, откуда черезъ три дня вернулся въ Любекъ. Изъ Любека онъ поѣхалъ въ Гамбургъ, а оттуда направился въ обратный путь — въ Петербургъ—опять искать мѣста и пробовать свои силы на литературномъ поприщѣ. Всего пропутешествовалъ онъ три мѣсяца. Страстъ къ странствованіямъ на сей разъ была временно удовлетворена: Гоголь вернулся освѣженнымъ...

Хлоноты по прінсканію м'єста возобновились, и въ сл'єдующемъ, 1830 году, Гоголь поступаетъ па службу въ министерство удъловъ. Литературныя занятія идуть своимъ порядкомъ. Въ "Отеч. Зап." (Свиньина) онъ помѣщаетъ первый опыть "малороссійской пов'єсти"— "Басаврюкъ или Вечеръ паканун'в Ивана Купала" (февр. и мартъ 1830 г.), безъ подписи. Въ альманах'в "Съверные Цвъты" онъ печатаетъ отрывки изъ историческаго романа, въ "Литературной Газеть" - главу изъ повъсти "Учитель", статью "Нъсколько мыслей о преподаванін дътямъ географіи", статью "Женщина" (1831). Съ тъмъ вмъстъ завязываются у него связи съ литературными кругами. Плетневъ зна-комитъ его съ Пушкинымъ и Жуковскимъ и покровительствуетъ ему на педагогическомъ поприщъ (въ томъ же 1831 г. Гоголь оставляеть службу въ министерствъ удъловъ и получаеть мъсто преподавателя исторіи въ Патріотическомъ институтъ). Лътомъ 1831 г. вышла въ свътъ отдъльнымъ изданіемъ І-ая часть "Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки". Незадолго передъ тѣмъ знакомство Гоголя съ Пушкинымъ уже перешло въ интимныя, дружескія отношенія. Пушкинъ сразу оціниль дарованіе Гоголя и полюбиль его, какъ новую падежду русской литературы, какъ ея будущую славу. Великій поэть не упускаль случая, гдъ только можно было, помочь начинающему писателю, ободрить, поощрить самолюбиваго и застинчиваго "хохла". Онъ же, вмъсть съ Жуковскимъ, въ томъ же 1831 году ввели Гоголя въ домъ А. О. Росеттъ (потомъ по мужу Смирновой), гдъ собирался интимный кружокъ писателей и цветь мыслящаго общества. Извъстныя "Записки" гостепріимной хозяйки ("Записки А. О. Смирновой", пзданіе редакцій "Сѣверн. Вѣстн.", С.-Петербургъ, 1895), такъ долго лежавшія подъ спудомъ и обнародованныя лишь въ 90-хъ годахъ, дають намъ наглядное представленіе о бес'вдахъ и спорахъ, какіе велись въ этомъ кружкь, гд'в первыя роли были распределены между Пушкинычъ. Жу-ковскимъ, кн. Вяземскимъ, А. И. Тургененымъ и др.

Для Гоголя это была настоящал школа. И это быль лучшій, счастливъйшій періодь его жизни, когда развитів его геніальнаго дарованія шло впередь гисантскими шагами и столь же быстро росла его слава, и когда вь общеній сь лучними умами тогданняго Петербурга, и прежде всего съ Пушкинымь, онь имѣль возможность отвлечься от в вычасто самоуглубленія, обогатить свою мысль новыми идеями, набраться новыхь, осиджающихъ впечатлѣній в, наконець, просто пополнить пробілы своего образованія.

А. О. Росетть уже слышала о Гоголь. Онъ интересоваль ее и какъ писатель, и какъ "хохолъ". Александра Осиновна была уроженкой Малороссій и сохранила привизанность къ своей родинь: "Я непремыно хочу видыть этого упрямаго хохла, ноговорить съ нимъ объ Украйнь, обо всемъ, что миъ такъ дорого. Я просила Илетнева скалать ему, что я также хохлачка..." ("Заниски", ч. І, стр. 41)—пишеть она. и вскорѣ заносить въ диевникъ, что "наконецъ-то Сверчокъ и Бычокъ 1), мой два арзамасскіе звъря, привели ко миѣ Гоголи-Яновскаго..." (41).

Въ мартъ 1832 года вышла 2-ая часть "Вечеровъ на хуторъ". Лътомъ того же года Гоголь предпринялъ побадку въ Малороссію. Проъздомь въ Москвъ опъ познакомился съ Погодинымъ. С. Т. Аксаковымъ и знаменитымъ автеромъ М. С. Щенкинымъ. Съ этими лицами онъ сехранилъ дружескія связи до конца жизни. Вернувшись въ Петербургъ осенью, Гоголь принялся за обработку задуманныхъ вмъ новыхъ произведенія, продолжая въ то же время свою пренодавательскую дъятельность въ Патріотическомъ институтъ. Онъ набрасываетъ иланъ большого историческаго и географическаго труда подъ заглавіемы: "Земля и люди" и въ то же время испытываетъ свои силы въ области комедіи. Задуманная пьеса называлась "Влалимръ 3-ей степени". Но, повидимому, Гоголь не довель оту работу до конца и укичтожиль написанное. Остались отрынки, которые онъ назваль "лоскутками истраченной пьесы". я которые

<sup>1)</sup> Т. е. Пушкия в и Жуковскій.

потомъ, въ переработанномъ видъ, были изданы подъ заглавіями: "Тяжба", "Утро дѣлового человѣка", "Лакейская".

Въ течение 1833-1834 гг. Гоголь написалъ рядъ замъчательныхъ произведеній, въ которыхъ открылись новыя стороны его дарованія. Это были: "Пов'єсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ", "Старо-свътскіе помъщики", "Тарасъ Бульба", "Вій". Въ 1835 году они вышли въ свътъ въ сборникъ "Миргородъ" (въ двухъ частяхь). Этоть сборникь окончательно упрочиль репутацію Гоголя. Погодинъ писалъ (въ "Москов. Наблюдатель"), что "на горизонть русской словесности восходить новое свытило". Смирнова заносить въ свой дневникъ: "Гоголь приходилъ читать Миргородъ. Надъ Пульхеріей Ивановной плакали... ("Зап.", I, 51). Нъсколько позже (въ 1836 г.), Пушкинъ, по поводу 2-го изданія "Вечеровъ на хуторъ", писалъ въ "Современникъ": "...съ жадностью всъ прочлп и "Старосвътскихъ помъщиковъ", эту шутливую, трогательную идиллію, которая заставляеть васъ смъяться сквозь слезы грусти и умиленія, и "Тараса Бульбу", коего начало достойно Вальтеръ-Скотта. Гоголь пдеть еще впередъ... "Почти одновременно съ "Миргородомъ" вышли и "Арабески", сборникъ различныхъ статей Гоголя ("Скульптура, живопись и музыка", "О среднихъ въкахъ", "О преподаваніи всеобщей исторіп", "Нъсколько словъ о Пушкинь", "Объ архитектурь нынышняго времени" и нъкоторыя другія) 1), къ которымъ авторъ присоединилъ два художественныхъ произведенія огромной цінности: "Невскій проспекть" и "Записки сумасшедшаго". Въ вышеупомянутой рецензіи Пушкинъ говорить, между прочимь, что послъ "Вечеровъ на хуторъ" Гоголь "непрестапно развивался и совершенствовался. Онъ издалъ "Арабески", гдв находится его "Невскій проспектъ", -- самое полное изъ его произведеній..."

Въ 1834 году Гоголь занялъ каеедру всеобщей исторіи въ петербургскомъ университеть. Какъ извъстно, его профессорская дъятельность оказалась очень пеудачной. Онъ не имълъ надлежащей подготовки, и даже студенты скоро замътили, что онъ просто не знаетъ своего "предмета". Интересовался онъ, по преимуществу, средними въками и исторіей Малороссіи, и въ этихъ областяхъ усивлъ пріобръсть нъкоторую эрудицію. Мнъ-

<sup>1)</sup> Большая часть ихъ была написана еще въ 1832 г. и напечатана въ повременныхъ изданіяхъ.

ніе С. А. Венгерова, что Гоголь все-таки быль, по тому времени, профессоръ не хуже многихъ, заслуживаеть вниманія. Ело вступительная лекція (1831) "О средняхъ віжахъ" (напеч. въ сент. кв. "Жури. Мян. Народи. Просвіщ." того же года и потомъ перепечатанная въ "Арабескахъ") во всякомь случав произведение не заурядное. Отзывъ Инкитенки о профессорской двятельности Гоголя, запесенный въ его "Іневникъ" подъ 21 февраля 1835 года, слишкомь суровъ, хотя и заплючаеть вы себы много вырнаго. Здысь же Никитенко отмычаеть извыстную черту вы характеры Гоголя: его необычайное самомивије и горделивое самочувствје. "Что же вышло?" пишеть Никитенко. — "Синица явилась зажечь море — и только. Гоголь такъ дурно читаетъ лекціи въ университеть, что сделался посмешищемъ для студентовъ. Начальство боится, чтобы они не выкинули надь нимъ какой-нибуль шалости... Попечитель призваль его къ себъ и очень ласково объявиль ему о непріятной мольв, распространившейся о его лекціяхъ. На минуту гордость его уступила место горькому сознанію своей неопытности и безсилія. Онъ быль у меня и признался. что для университетскихъ чтезій надо больше опытности"... "Хотя, после замечанія попечителя, онь должень быль перемынть свой надменный тонь съ ректоромь, деканомь и прочими членами университета, но въ кругу "своихъ" онъ все тоть же всезнающій, глубокомысленный, геніальный Гоголь, какимъ былъ до сихъ поръ..." (А. В. Никитенко, "Записки п Двевникъ", пад. 2-ое, 1904, С.-Петерб., т. I. стр. 263-264).

Сохранились и другія—столь же неблагопрічтныя—свидітельства о профессурів Гоголя, въ томъ числів и восноминанія И. С. Тургенева, который быль тогда студентомъ петербургскаго университета и слушаль лекція Гоголя. По есть одно свидітельство и въ пользу Гоголя-профессора, относящееся къ его вступительной лекція. Одниъ изъ его слушателей, Иваницкій, вспоминаєть, что Гоголь очень волновался и робіль въ началі этой лекція, но «мысль, высказываемая имъ, развивалась совершенно логически и въ самыхъ блестящихъ формахъ... Не знаю, прошло ли и пять минуть, какъ уже Гоголь овладіль совершенно вниманіемъ слушателей. Невозможно было спокойно слідить за его мыслью, которая летіла и преломлялась, какъ молнія, освіщая безпрестанно картину за картиной въ этомъ мракъ средневъковой исторіи»... Иваницкій утверждаеть, что Гоголь выучиль всю лекцію наизусть 1).

Нътъ сомпънія, что современники (въ томъ числъ и Бълинскій) не оцінили по достоинству статей Гоголя по исторін и по искусству. А между тімь оні выгодно отличались отсутствіемъ школьной схоластики и самостоятельностью, а порою и глубиной мысли. Никитенко порицаетъ самый слогъ Гоголя въ этихъ статьяхъ, находя его напыщеннымъ и риторичнымъ. Онъ дъйствительно написаны въ приподнятомъ тонъ, но ихъ стиль нельзя не назвать блестящимъ 2).

Заняться серьезно наукой в сдълаться хорошимъ профессоромъ помѣшало Гоголю, во-первыхъ, сознапіе, что онъ сділаль ошибку, взявшись не за свое діло, а во-вторыхь, внушение его художническаго генія, отвлекавшаго его мысль совсѣмъ въ другую сторону. Художественная работа продолжалась почти непрерывно. Въ течение тъхъ же годовъ (1832-1836) онъ задумаль и частью написаль рядь повъстей, въ числё которыхъ мы находимъ такую первостепенную вещь, какъ "Шинель", и такое, въ своемъ родъ значительное, при всьхъ недостаткахъ, произведение, какъ "Портретъ" (въ нервой редакціи). Кром'є этихъ вещей, онъ написаль разсказы "Носъ" и "Коляска". Правда, повъсть "Шипель" была только задумана въ 1834 году (написана позже, въ 1839-1841 г.г.); "Портреть" подвергся впоследствій радикальной передёлке. Но эти темы уже занимали его умъ, отвлекая отъ университетскихъ лекцій, къ которымъ онъ охладаль. Крома повастей, онъ работаетъ въ это время и надъ пьесами. Въ 1835 г. написана "Женитьба", и въ томъ же году принимается онъ за "Ревизора" — на сюжеть, сообщенный ему Пушкинымь. Въ 1836 году (въ январъ) Гоголь уже читаетъ "Ревизора" у Жуковскаго, потомъ у Смирновой въ присутствіи великаго князя Михаила Павловича, и Смирнова уже старается, при содъйствім Жуковскаго и Пушкина, провести пьесу на сцену черезъ дворецъ: императоръ Николай Павловичъ, благодаря стараніямъ Смирповой, заинтересовался комедіей и ея авто-

<sup>1)</sup> См. у В. И. Шенрока ("Матеріалы", II, 228 и сл.) и у Н. А. Котляревскаго ("Н. В. Гоголь", стр. 125—126).
2) Справедливая оцѣнка этихъ и другихъ статей сдѣлана Н. А. Котляревскимъ, см. стр. 137—146 книги "Н. В. Гоголь".

ромъ. "Ревизоръ" очень поправился императору и очь приказалъ, минуя цензуру, поставить пьесу. Но перечисленными произведеніями не ограничивалась

Но перечисленными произведеніями не ограничивалась литературная діятельность Гоголя въ разсматриваемую эпоху: въ томъ же 1835 году онъ принимается за величайшее сьое произведеніе — за "Мертвыя дуни", сюжеть которыхъ также данъ быль ему Пушкинымъ. Въ 1836 году первыя главы уже паписаны, и Гоголь читаетъ имъ у Смирновой въ присутствіи Пушкина, Жуковскаго и др.

Такова была, можно смедо сказать, гигантский художественная работа, совершенная Гоголемъ въ нервой половянъ 30-хъ годовъ. Не мудрено, что для профессорской далельпости не оставалось ни времени, ни силь. Въ конив 1835 г. Гоголь подаеть въ отставку. Въ письмъ къ Погодину (въ дек. 1835 г.) онъ говорить: "Я расплевался съ университетомъ. и черезъ мъсяць опять беззаботный казакъ. Неузнанцый я взошель на каоедру и пеузнанный схожу съ нея... Это одна изъ тъхъ выходокъ Гоголя, которыя отзывались своего рода "хлестаковщиной". Но то, что говорить онъ зальше, дышитъ глубокой правдой и оправдывается его геніальною работою художника: ....въ эти полтора года — годы моего безславія, потому что общее мивніе говорить, что я не за свое діло взялся, — я много вынесъ отгуда и прибавилъ въ сокровищницу души. Уже не дътскія мысли, не ограниченный прежній кругь моихъ свъдъній, по высокія, пеполненныя истины и ужасающаго величи мысли волновали меня... Очень гордо и очень нескромно звучать эти слова, но они говорять правду. пбо для созданія такихъ вещей, какъ "Портретъ", "Шанель", "Ревизоръ" и "Мертвыя души", нужно было имъть въ запасъ много глубокихъ и скорбныхъ думъ, нужно было обладать геніальною интуиціею поэта.

Постановка "Ревизора" (19 апр. 1836 г.) была въ одно и то же время и тріумфомь Гоголя, и принесла ему великія огорченія. Лучшая часть общества придавала пьесѣ значеніе крупнаго общественнаго событія. Никитенко, не долюбливавшій Гоголя, признаеть, что "Гоголь дъйствительно сублаль важное дѣло. Впечатлѣніе, произведенное его комедіей, много прибавляеть къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя накопляются въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка вещей" ("Заниски и дневникъ", подъ 28 апр. 1836 г.). Отсталая часть общества

и литературная клика, враждебная Гоголю (Сенковскій, Булгаринъ, частью Полевой и др.), рёзко порицали пьесу и осыпали ея автора упреками или бранью. Никитенко сообщаеть, что графъ Канкрпнъ послѣ перваго представленія выразился такъ: "Стоило ли ѣхать смотрѣть эту глупую фарсу", — и что "многіе полагають, что правительство напрасно одобряеть эту пьесу, въ которой оно такъ серьезно порицается" ("Зап. и дневникъ", тамъ же). Общество раскололось, пошли споры, поднялся шумъ, и все это произвело на болъзненночуткую натуру Гоголя самое удручающее впечатльніе. Когда шли хлоноты о постановкъ пьесы въ Москвъ, Гоголь писаль артисту Щепкину (23 апр. 1836 г.): "Ділайте, что хотите, съ моей пьесою, но я не стану хлопотать о ней. Мнв она сама надобла такъ же, какъ и хлопоты о ней. Действіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всв противъ меня... бранять и ходять на пьесу: на четвертое представление нельзя достать билетовъ. Если бы не высокое заступничество государя, пьеса моя не была бы ин за что на сценв".

Имъ опять, какъ нѣкогда въ 1829 г., овладѣло стихійное стремленіе бѣжать. Уже въ мав 1836 г. онъ дѣлаетъ приготовленія къ отъѣзду за границу, о чемъ и извѣщаетъ свою мать и друзей (Погодина, С. Т. Аксакова и др.). Наконецъ, 6 іюня того же года опъ, вмѣстѣ съ Данилевскимъ, двинулся въ путь...

Петербургскій періодь жизни и творчества Гоголя окончился, и начался первый заграничный періодь, длившійся, съ перерывами, до 1841 года, когда Гоголь прівхаль въ Россію для хлопоть по изданію первой части "Мертвыхь Душь". Эти годы (1836—1841) заграничныхь скитаній почти цёликомь пошли на обработку великой поэмы въ тёхъ ея частяхъ, которыя были написаны раньше, и на ея продолженіе (окончаніе первой части и писаніе второй). Объ этой работь Гоголя надь "Мертвыми Душами" и о его настроеніяхъ, сопровождавшихъ работу, мы будемь говорить въ главь ІІІ-ей. Здёсь отмьчу только важньйшія событія этой эпохи въ жизни Гоголя. Въ ряду этихъ событій первое мьсто должно быть отведено смерти Пушкина, извыстіе о которой произвело на Гоголя ошеломияющее впечатльніе, что онь и выразиль въ своихъ письмахъ къ Погодину и Плетневу (выдержки будуть приведены въ главахъ ІІ-й и ІІІ-ей). Вторымъ событіемъ, оказавшимъ немалое вліяніе на внутренній

міръ Гоголя, была смерть его молодого друга, Іосифа Вьельгорскаго. Это быль юпоша, подававшій большія надежды и очаровывавшій всьхъ прекрасными качествами души. Онъ умерь отъ чахотки 1-го іюля 1839 года. Гоголь, познакомившійся съ пимъ всего полгода тому назадъ, всей душой привязался къ юношь. Въ его писъмахъ того времени встръчаются восторженные отзывы о Вьельгорскомъ. У постечи умирающаго опъ "проводилъ безсонныя ночи", онъ "живеть его умирающими днями", "довить минуты его" (такъ выражался онъ въ письмѣ къ М. П. Балабиной. отъ 30 мая 1839 г.). "Клянусь, пеностижимо странная судьба всего хорошаго у насъ въ Россіи. Едва только усиветь показаться-и тоть же часъ смерть. безжалостная, неумолимая смерть", нишеть онъ Балабиной. На такую натуру, какъ Гоголь, смерть молодого Вьельгорскаго, умиравшаго на его рукахъ, должна была произвести исключительно сильное внечатльніе. Чего только ин передумаль, какихъ скорбныхъ чувствъ ни пережиль у постели умарающаго юноши этоть человыть, надъленный необычайною чуткостью и бельзненною раздражительностью нервной и психической организацій! Объ этихъ думахъ и чувствахъ, возвышавшихся до міровой скорби, до философскаго пессимизма и близкихъ къ религіозному роноту, мы можемъ судить по темъ местамъ изъ писемъ, где идетъ речь о смерти Вьельгорскаго, и по отрывку "Ночи на виллъ", воспроизводяцему въ задушевной лирической форм'ь смерть юноши и все, что пережилъ поэтъ у его смертнаго одра 1).

Большое значение въ творчествѣ Гоголя, безспорно, имѣло его пребывание въ Италіи, въ особенности въ Римф. Извѣстно, какъ очарованъ былъ Гоголь природою, климатолъ, историческими памятниками, искусствомъ и всѣми вообще внечатлѣніями Италіи. Только здѣсь могъ онъ отвлечься отъ всѣхъ гнетущихъ впечатлѣній; только здѣсь, въ Вѣчномъ горолѣ, освобождалась душа поэта отъ ипохондрическихъ и мизантропическихъ настроеній, которымъ она была такъ подвержена; только здѣсь могъ онъ сосредоточиться на своей художественной работь. Заѣсь то и закончилъ онъ обработку І-ой части «Мертвыхъ душъ». Геніальная поэма такъ тѣсно связана съ Римомъ, что изслѣдователю порою навязывается парядоксальная мыслъ, что, если бы

<sup>1)</sup> Объ І. М. Вьеньгорскомъ, о дружбь его съ Гоголемъ, о его смерти подробно говорить В. П. Шеврокъ на стр. 254—263 ЦІ-10 тома "Матеріаловъ".

Гоголь не могъ попасть въ Римъ, мы не имѣли бы поэмы о похожденіяхъ Павла Ивановича Чичикова въ ея законченной

формъ...

«Страсть къ Италіи» — справедливо говорить Н. А. Котляревскій — «была въ немъ (въ Гоголъ) страстью и южанина, и эстетика, и романтика, и любиль онъ въ этой Италіи не только ее самое, но и свою мечту, какъ любятъ всв истинно-влюбленные» («Н. В. Гоголь», стр. 296). Выдержки изъ писемъ, въ которыхъ онъ изливаетъ эту любовь, будутъ приведены въ гл. III-ей. Эдъсь ограничусь одной цитатой (изъ письма 1837 года): «Душенька моя! моя красавица Италія! Никто ее въ мірѣ не отниметь у меня! Я родился здъсь. Россія, Петербургъ, снъга, подлецы, департаментъ, кафедра, театръ—все это мнъ снилось... О, если бы взглянули только на это ослъпляющее небо, все тонущее въ сіяніи! Все прекрасно подъ этимъ небомъ; что ни развалина, то и картина; на человъкъ какой-то сверкающій колоритъ; строеніе, дерево, дъло природы, дъло искусства—все, кажется, дышить и говоритъ подъ этимъ небомъ...»

Памятникомъ итальянскихъ и въ частности римскихъ впечативній явилась повъсть «Римъ» («Анунціата»), оставшаяся,

впрочемъ, неоконченной 1).

Кром'в постоянной работы надъ «Мертвыми душами», Гоголь трудился, живя за границей, также надъ переработкою и отдылкою некоторыхъ прежнихъ произведеній. Такъ, онъ переделаль пов'єсть «Портретъ» (1837 и 1841 г.), «Тараса Бульбу» (въ 1838 г., окончиль въ 1842).

Въ 1839 году Гоголю пришлось прівхать, по разнымъ двламъ, въ Россію, гдв онъ пробыль отъ конца сентября 1839 г. до конца мая 1840 г., когда онъ опять двинулся за границу. Проживъ некоторое времи въ Вене, потомъ въ Венеціи, онъ 25 сентября (1840 г.) прибылъ въ Римъ. Здёсь онъ отдохнулъ душой отъ всего пережитаго въ отечестве...

I-я часть «Мертвыхъ душь» была уже почти окончена, и въ 1840 году отъ читаль ее въ Москвъ у Аксаковыхъ.

Вь сладующемъ 1841 году осенью Гоголь опять прівхаль въ Россію и на этоть разъ привезъ уже совсамь готовую и переписанную для цензуры рукопись первой части «ноэмы». Въ

<sup>1)</sup> Жизнь Гоголя въ Римф описаль по личнымъ воспоминаніямъ П.В. Авненковъ въ статьф «Гоголь въ Римф». («Вос поминанія и критическіе очерки», т. I).

Москв б онъ представилъ ее въ цензурный комитетъ, но, онасаясь затрудненій, взялъ ее назадъ, чтобы отослать ее въ Петербургъ— «съ оказіей». Драгопѣнную рукопись новезъ въ Петербургъ не кто иной, какъ В. Г. Б в л и и с к і й съ письмомъ къ Смирновой и кн. В. О. Одоевскому (въ началъ января 1842 г.). —Благодаря хлопотамъ петербургскихъ друзей и эпергичному образу дъйствій цензора Никитенки, рукопись была разрышена къ печати (9 марта 1842 г.). Книга вышла въ свътъ 23 мая 1842 г. Посътивъ Петербургъ на короткое время, Гоголь выъзжаетъ за границу въ началъ іюня (1842). Въ началь октября онъ былъ уже въ Римъ.

Появленіе «Мертвыхъ душъ» было событіемъ первостепенной важности. Отрицательныя стороны «русскаго человька» предстали передь сознавіемъ мыслящей части общества воялощенными въ яркіе, глубоко-жизненные типы. Знаменитый гоголевскій сміхъ, въ которомъ и раньше уже звучали ноты глубокой скорон, теперь. въ велякой «поэмв». сталъ тымъ «высокимъ восторженнымъ смѣхомъ», который «достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ» (Мертв. души. гл. VII). II это хорошо поняли лучшіе люди эпохи, для которыхъ «Мертвыя души» были великою книгою скорби и горькихъ думъ объ уродствахъ русской действительности, объ искажении, какъ говорилъ Гоголь. «природы русскаго человъка», о «пугающемъ отсутствіп світа». Еще Пушкинь, прослушавь первыя главы «поэмы», вынесъ это тяжелое впечатлине, вылившееся у него въ восклицаніи: «Боже, какъ грустна наша Россія!»1). Въ окончательной обработкъ картина вышла не столь безнадежной: знаменитыя «лирическія міста» внесли въ нее ніжоторый просвіть, какъ бы символизируя головокружительно-быстрый историческій рость Россіи, позволяющій вад'яться, что она раньше или нозже выйдеть на свъть Божій изъ трясины безвременья, въ которой она, казалось, увязла. И вотъ что писаль въ своемъ «Диеванкъ» А. И. Герценъ подъ свъжимъ впечатлениемъ только-что прочитанной «поэмы»: «Мертвыя души» Гоголя — удивительнач книга, горькій упрекъ современной Россіи, по не безпадежный. Тамъ, где взглядъ можеть проникнуть сквозь туманъ нечистихъ, навозныхъ испаревій, тамъ онъ видить удалую, полную силы національность. Портрегы его удивительно хороми, жизнь со-

<sup>1)</sup> Объ этомъ я говоры подробные на ме, ка пл. П-й

хранена во всей полноть; не типы отвлеченные, а добрые люди, которыхъ каждый изъ насъ видълъ сто разъ. Грустно въ міръ Чичикова—такъ, какъ грустно намъ въ самомъ дѣлъ; и тамъ, и тутъ одно утѣшеніе въ вѣрѣ и упованіи на будущее. Но вѣру эту отрицать нельзя, и она не просто романтическое упованіе ins Blaue, а имѣетъ реалистическую основу,—кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди...» («Дневипкъ» подъ 11 іюня 1842 г.).

Такія «утѣшенія» и «упованія», дѣйствптельно, подсказывала великая поэма. Достаточно вспомнить «лирическое мѣсто» въ концѣ первой части: «...Н какой же русскій не любить быстрой ѣзды? Его ли душѣ, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «Чортъ побери все!», его ли душѣ пе любить ея?.. Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая неугомонная тройка, несешься?.. Русь, куда же несешься ты? Дай отвѣтъ. Не даетъ отвѣта. Чуднымъ звономъ заливается колокольчикъ... летитъ мимо все, что ни есть па землѣ, и косясь постораниваются и даютъ ей дорогу другіе народы и государства». Пі шевелились въ душѣ чуткихъ читателей тѣ упованія на будущее, въ которыхъ русскій человѣкъ такъ легко находитъ утѣшеніе всѣхъ скорбей прошлаго и настоящаго,—и такъ хотѣлось вѣрить, что оѣшеная тройка вылетитъ изъ трясины, изъ мрака,—и такъ легко забывалось, что сидитъ то въ бричкѣ все тотъ же Павелъ Ивановичъ Чичиковъ...

Забывали объ этомъ тѣ славянофилы, которые видѣли въ «поэмѣ» «аповеозъ Руси». К. С. Аксаковъ, восторжениый по-клониакъ Гоголя, издалъ брошюру, въ которой онъ развивалъ ту мысль, что «Мертвыя души»—національная русская эпопея, родъ «Пліады» и «Одиссеи», а Гоголь—русскій Гомеръ. Другіе (бельшею частью также славянофилы), выдвигая впередъ сатирическую сторону поэмы, видѣли въ ней не «аповеозъ», а, напротивъ,— «анаоему Руси». Въ московскихъ кружкахъ шли на эту тему оживленные споры. Герценъ, принимавшій въ нихъ дѣятельное участіе, записалъ въ «Дпевникѣ»: «Видѣть апотеозу—смѣшно, видѣть одпу анаоему—несправедливо. Есть слова примиренія, есть предчувствія и надежды будущаго, полнаго и торжественнаго, но это не мѣшаетъ настоящему отражаться во всей отвратительной дѣйствительности...»—(«Дневн.» подъ 29 іюля 1842 г.). Въ поэмѣ нѣтъ никакой «анаоемы», а есть ѣдкая сатира и глубокая скорбь. Въ ней нѣтъ «апооеоза»,

но есть бодрящій, освѣжающій лиризмъ: «...съ каждымъ шагомъ», — пишетъ Герпенъ (тамъ же) — «вязнете, тонете глубже, лирическое мѣсто вдругь оживить, освѣтить и сейчасъ замѣняется опять картиной, наноминающей еще ясиѣе, въ какомър въ ада находимся...» «Мертвыя души» — ноэма, глубоко выстраданная. Мертвыя души? Это заглавіе само носить въ себѣ что-то наводящее ужасъ. И иначе онъ не могъ назвать, не ревизскія — мертвыя души, а всѣ эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti — вотъ мертвыя души, и мы ихъ встрьчаемъ на каждомъ шагу...»

Поэма вызвала оживленные толки и въ обществъ, и въ литературф. Появились статьи Бфлинскаго, Шевырева. Илетнева и др. Рядомъ съ восторженными похвалами выражалось и пориданіе. Не говоря уже о давнишнихъ недоброжелателяхъ Гоголя (Булгаринъ, Сенковскій и др.), придиравшихся къ мелочамъ и старавшихся свести сатиру Гоголя на шаржъ и карикатуру, многіе читатели, а также писатели, не могли сразу уяснить себв глубокаго общественнаго смысла поэмы и высокаго художественнаго значенія типовъ. въ ней выведенныхъ. Вотъ почему особливо полезны были ть статьи, въ которыхъ все это разъяснялось, и которыя, такъ сказать, подготовляли читателя къ пониманию поэмы. Такое воспитательное значение могли имъть статьи разныхъ лицъ, а также частыя ссылки на «поэму» и ея героевь въ статьяхъ Бълинскаго, который, однако, не даль обстоятельнаго разбора «Мертвыхъ душъ». Въ восноминаніяхъ П. В. Анненкова говорится, что различные вопросы и споры, какіе тогда занимали великаго критика. «не могли заслонить ин на минуту передъ Бълинскимъ чисторусскаго вопроса, который тогда икликомъ сосредоточивался у него на одномъ имени Гоголя и на его романъ «Мертвыя души...» Онъ не уставаль указывать... почему являются на Руси типы такого безобразія, какіе выведены въ поэмъ: почему могуть совершаться на Руси такія невьроятныя событія, какія въ ней разсказаны; почему могуть существовать на Руси, не приводя никого вь ужась. такія рьчя, мивнія, взгляды, какіе переданы въ ней. Бълинскій думаль, что добросовъстный отвъть на вопросъ можеть сделаться для человека, добывшаю его, программой двятельности на остальную жизнь и, особенно, положить прочиую основу для его образа мыслей и для правильнаго сужденія о себь и другихь...» (П. В.

Анненковъ, «Воспоминанія и крптическіе очерки», III, стр. 103).

Уже отсюда видно, какое огромное общественное значеніе имѣла сатира Гоголя. Послѣ появленія «Мервыхъ душъ» онъ становится настоящимъ «властителемъ думъ» мыслящей и передовой части общества, и на него обращены «полныя ожиданія очи» («Мертв. души», гл. XI). Лѣтъ пять спустя, въ извѣстномъ письмѣ къ Гоголю, гдѣ Бѣлинскій излилъ все свое негодованіе по поводу ретроградныхъ мнѣній Гоголя, высказанныхъ въ его книгѣ «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» (1847), великій критикъ, вспоминая недавнее прошлое въ слѣдующихъ словахъ выразилъ свое отношеніе къ великому поэту-сатирику: «Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можетъ любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса»...

#### Π.

Между тымь, какъ разъ въ эту эпоху владычества Гоголя надъ умами и сердцами лучшихъ людей Россіи (1842—1847), въ душт великаго писателя творилось что-то недоброе: тамъ сгущались мрачныя настроенія, въ которыхъ замѣтно выступали черты ипохондріи и мизантропіи. Гоголь хворалъ физически и мучился припадками какой-то психической угиетенности. Онъ преувеличивалъ свои недуги и свои моральные недостатки. Онъ подозрѣвалъ въ себт болѣзни, которыхъ не было, и каялся въ прегрѣшеніяхъ, не только дъйствительныхъ, но и воображаемыхъ. По временамъ ему казалось, что вся его литературная дѣятельность ничтожна или даже вредна, что онъ призванъ къ чему-то другому. Иной разъ навязывалась ему мысль, что онъ потерялъ свой талантъ. Но всего болѣе овладѣвали имъ покаянныя настроенія, страхъ смерти и загробныхъ возмездій. Онъ каялся и молился...

Углубляясь въ свой внутренній міръ, онъ вскорѣ обрѣлъ новое дѣло, которое онъ назвалъ своимъ «душевнымъ дѣломъ»: онъ стремился очиститься отъ всякой скверны, воспитать въ себѣ высокую моральную личность, выработать какой-то высша-го порядка душевный строй,—и ему казалось, что, только

исполнивъ эту задачу, онъ будеть въ состояни довести до конца свое великое твореніе—« Мертвыя души», въ дальнъй-шихъ частяхъ котораго онъ изобразитъ «хорошія стороны» русскаго человька и вибсть съ тьмъ укажеть Руси върный путь къ совершенствованію, къ правственному возрожденію, къ свъту и къ правдъ...

Смиреніе и самоуничиженіе кающагося «грѣшника» и христіанина, стремящагося къ праведной жизни по Евангелію, совивщались у него съ гордынею пророка, призваннаго пронов'ядывать «слово истины» и направить Россію Чичиковых в, Собакевичей и Ноздревых на путь спасонія...

Онъ пишеть правоучительныя и душеспасительныя письма Аксакову (С. Т.). Языкову, Смирновой. Данилевскому и многимъ другимъ, гдв говорить о своемъ «душевномъ двяв» и преподаеть совыты, какь очиститься, какъ молиться... В в числь рекомендуемыхъ средствъ есть такое: «Дайте мив слово во все продолжение первой недъли великаго поста... читать мое нисьмо, перечитывая всякій день по одному разу и входи въ точнай смыслъ его, который не можеть быть доступенъ съ перваго разу... (Письмо къ матери оть 1-го октября 1543 г.). Своему товарищу и пріятелю А. С. Данилевскому онъ пишеть (1844): «Счастье на земль пачинается только тогда для человька, когда онъ, позабывъ о себь, начинаеть жить для другихъ»... Онъ считаетъ своимъ долгомъ и даже правомь вмъщиваться въ чужую жизнь, наставлять людей на путь истичы. Онь уверень, что ему свыше ниспослань необыкновенных дарь «слышать душу»: онь читаеть выдушь человыческой, какы по писанному, и поэтом уможеть отпрыть всякому человыху правду о немъ самомъ, обнаружить скрытые помыслы и тайныя движенія души, какиль самь человікть не подозріваеть въ себь... «Самъ Богъ вложиль въ душу мою прекрасное чутье слышать душу: источникь мночись монхъ радостей и наслажденій», — пишеть онъ Смирновой (16 мая 1841 г.). Этогь даръ. дъйствительно, былъ у него: пначе опъ не быль бы великимъ поэтомъ. Но онъ думаль, что этоть даръ поглань ему не столько для художественнаго творчества, сколько для предстоящей ему діятельности «учитель», моралиста и релинознаго исповъзника.

Онъ углубляется въ чтеніе такахъ книгь, какъ сочиненія Эомы Кемпійскаго, сочиненія Стефана Яворскаго, «Розыскъ о Брынской вѣрѣ» Дмитрія Ростовскаго, «Духовный Мечъ» Лазаря Барановича.—Сочиненія Өомы Кемпійскаго онъ разсылаеть друзьямь (С. Т. Аксакову, Погодину, Шевыреву, Языкову) съ назидательнымь письмомъ... Наконець, онъ предпринимаеть путешествіе въ Іерусалимъ, паломничество ко Гробу Господню...

Съ каждымъ годомъ все болбе захватывало его это «душевное дело», съ которымъ такъ причудливо переплеталась его художественная работа надъ второю и третьею частями «Мертвыхъ Душъ». Въ этомъ трудъ онъ хотълъ воплотить въ новые образы свои высокіе помыслы, свои покаянія, вст тъ «истины» или откровенія, къ которымъ онъ шель столь труднымъ путемъ религіознаго самоуглубленія, моральныхъ исканій, долгихъ сосредоточенныхъ думъ. Но работа подвигалась медленно и туго. Написанное не удовлетворяло поэта, казалось далеко ниже того, что онъ хотель выразить. Въ 1845 году вторая часть поэмы была совсёмъ готова, но лётомъ того же года Гоголь сжегъ рукопись и принялся писать сызнова.—Въ 1846 году ему приходить въ голову мысль издать отрывки изъ своихъ многочисленныхъ писемъ. Онъ извѣщаетъ объ этомъ Языкова. «Я, какъ разсмотрълъ все то, что писалъ разнымъ лицамъ въ последнее время, особенно нуждающимся и требовавшимъ отъ меня душевной помощи, вижу, что изъ этого можеть составиться книга, полезная людямъ страждущимъ на разныхъ поприщахъ...» (22-го апр. 1846 г.)—Въ іюль того же 1846 г. онъ уже даетъ опредъленное поручение Плетневу относительно изданія «Выбранныхъ мість изъ переписки съ друзьями» и пишеть ему, что «эта книга разойдется болже, чёмъ всё мои прежнія сочиненія, потому что это до сихъ поръ моя единственная дёльная книга»...- Онъ ждеть, что эта книга «принесетъ добро многимъ душамъ» (письмо къ Смирновой отъ 15-го окт. 1846 г.). — Самъ Богь внушиль ему эту мысль издать ее: «чудо и милость Божія» явственно сказались въ томъ, что «во время работы надъ книгою вдругъ остановились самые тяжкіе недуги, вдругь отклонились всв помвшательства въ работъ...» (письмо къ Плетневу отъ 20 окт. 1846 г.).

Уже во время печатанія книги до Гоголя доходили отрицательные отзывы о ней его друзей и поклонниковъ, болѣе или менѣе ознакомленныхъ съ ея содержаніемъ. Изъ этихъ отзывовъ чуть ли не самый ръзкій принадлежаль старику Аксакову, который давно уже съ грустью замѣчалъ, что Гоголь уклоняется отъ своего прямого путп—художника-сатирика, становится моралистомъ и впадаетъ въ мистицизмъ. Теперь С. Т. Аксаковъ, узнавъ о томъ, что Гоголь приступаетъ къ изданію своихъ писемъ, пишетъ Илетневу, которому было поручено изданіе, что эту книгу издавать не слѣдуеть. Иэтомъ (9-го дек. 1846 г.) старикъ обращается къ самому Гоголю съ рѣзкимъ письмомъ, въ которомъ онъ упрекаетъ поэта въ «гордынѣ», облеченной «въ рубище смиренія».

Книга вышла въ свъть наканунт новаго—1847 года и вскорт принесла Гоголю великія огорченія и разочарованія. Прежде всего огорчила Гоголя цензура, вычеркнувъ нъкоторыя мъста. Гоголь утверждаль, что выпущены чуть ли не двъ трети книги, по это не втрио: вст изъятыя мъста составять весьма незначительную часть ся. Но нельзя отрицать, что въ самомъ дъть иткоторыя изъ опущенныхъ мъстъ были важны въ томъ смыслъ, что показывали, чтъ авторъ вовсе не такъ ужъ примиренъ съ тогдашнею русскою дъйствительностью, какъ это казалось на основаніи многихъ изъ его разсужденій, вошедшихъ въ злополучную книгу.

Въ настоящее время уже не можетъ быть сомивнія въ томъ, что Гоголь, издавая свои письма, руководился глубокоискреннимъ стремленіемъ принести пользу Россіи, бороться съ отринательными сторонами тогдашней дъйствительности, просвътить и облагородить соотечественниковъ. Никакой личной выгоды онъ не преслъдовалъ и отнюдь не хотълъ угодить властямъ предержащимъ, какъ подозръвали это пъкоторые не только изъчисла его недруговъ, но и изъчисла его поклонниковъ.

Книга произвела даже на людей консервативнаго образа мыслей непріятное впечатльніе ретроградства и мракобъсія. Въ дъйствительности Гоголь быль далекъ и оть того, и оть другого. Его ошибка, которую въ то время критика не могла освътить, какъ слъдуеть, состояла въ томъ, что онъ придаваль исключительное значеніе религіозному и моральному фактору въ жизни общества и государства. Это, въ существъ дъла, та же самая ошибка, которую потомъ повторилъ Л. Н. Толстой. Какъ тотъ, такъ и другой, не знали или не котъли нонять, что общественная и государственная жизнь совсъмъ не то, что личная жизнь отдъльнаго человъка. Послъдній можеть, да и то не

всегда, исправиться подъ вліяніемъ голоса совъсти, живого религіознаго чувства, моральной пропов'єди. Общество и государство «исправляются» общественными и политическими реформами, поступательнымъ движеніемъ, сообразнымъ съ требованіями времени, распространеніемъ просвъщенія. Дореформенная Россія нуждалась не въ пробужденіп религіознаго чувства, не въ моральной преповіди, а въ реформахъ. Гоголь не могь стать на эту точку зрвнія, потому что не имвль политическаго воспитанія, какъ не имѣли его добрыхъ 9/10 тогдашняго образованнаго общества. По условіямъ своей внішней жизни, Гоголь, правда, могъ бы легче многихъ другихъ пріобрасть нъкоторый навыкъ въ области вопросовъ политики: онъ очень долго жиль за границей, много путешествоваль по Западной Европъ, зпалъ четыре пностранныхъ языка (ньмецкій, французскій, птальянскій п польскій) и им'єль, такимъ образомь, возможность присмотраться къ общественной жизии, къ учрежденіямь западно-европейскихъ народовь, познакомиться съ политической литературой, напр., Франція и Германіи. Но онъ не воспользовался этими благопріятными условіями. По самой натурт своей, по складу ума, онъ и не могъ ими воспользоваться въ интересахъ своего политическаго образованія. Выяснить эти особенности ума и натуры Гоголя, мѣшавшія ему стать передовымъ человъкомъ своего времени, и составить одну изъ задачъ предлагаемой книги.

Отзывы критики о «Перепискѣ съ друзьями» большею частью были рѣзко отрицательные. Таковы были отзывы Бѣлинскаго, Н. Ф. Павлова, Губера, Галахова (въ передовомъ лагерѣ). Понравилась книга сравнительно пемногимъ, премущественно членамъ того религіозно-настроеннаго кружка, въ которомъ Гоголь игралъ видную роль, и гдѣ на него смотрѣли, какъ на призваннаго «учителя». Это былъ кружокъ Вьельгорскихъ, Смирновыхъ, графа А. П. Толстого и другихъ. Но поддержка и сочувствіе этихъ лицъ не могли залѣчить рану, нанесенную Гоголю проваломъ книги, на которую онъ возлагалъ столько надеждъ. Рѣзкіе отрицательные отзывы въ письмахъ къ нему и въ печати, новидимому, подѣйствовали на него очень сильно и поколебали его увѣренность въ томъ, что изданіемъ «Переписки» онъ сдѣлалъ полезное и хорошее дѣло. Онъ приходитъ къ сознанію, что сдѣлалъ ошибку. Въ одномъ письмѣ къ Жуковскому онъ говоритъ: «Я размахнулся въ моей книгь такимъ Хлеста-

ковымъ, что не вмѣю духу заглянуть въ нее... Какъ миъ стыдно за себя, какъ мив стыдно передъ тобою, добрая душа! Стыдно, что возомниль о себь, будто мее школьное восинтание уже кончилось, и могу я стать наравив съ тобою. Право, есть во мив что-то хлестаковское!» (1847 г.).—Въ другихъ инсьмахъ (къ Илетневу, Шевыреву, Вьельгорской) онъ старается оправдать изданіе своей княги тымь соображеніемь, что она заставить многихъ поразсмыслить о разпыхъ важныхъ вопросахъ, въ ней поднятыхъ, а ему самому дастъ возможность узнать, что думаютъ русскіе люди, какъ они относятся къ темъ или другимъ мыслямъ автора, и, благодаря этому, онъ лучше уяснить себъ образъ мыслей, направление, настроение различныхъ круговъ общества, а это, въ свою очередь, необходимо ему для дальнъйшей работы надъ «Мертвыми Душами». «Миз иужно слишкомъ много набраться отъ умныхъ людей, чтобы написать, какъ следуеть, мои «Мертвыя Души», — говорить онъ Плетневу (въ нисьме отъ 6-го марта 1847 г.). — «Книга моихъ писемъ выпущена въ свътъ затъмъ, чтобы узнать, на какой степени душевнаго состоянія стою теперь я самъ, потому что себя трудно видъть, а когда нападуть со всъхъ сторонъ п стануть на тебя указывать пальцами, тогда и самъ отыщешь въ себъ многое. Книга моя вышла не столько затемъ, чтобы распространить какія-либо свёденія, сколько затёмъ, чтобы добиться самому многихъ техъ сведеній, которыя мие необходимы для труда моего...» (Изъ письма къ А. М. Вьельгорской отъ 26-го марта 1847 г.). — То же самое говорить онъ и въ письмів къ А. С. Данилевскому (отъ 18-го марта того же года). Любонытно оригинальное выражение тъхъ же мыслей въ письмъ къ Россету: «Одна изъ причинъ печатанія моихъ писемъ была та, чтобы научиться, а не научить. А такъ какъ русскаго человъка до тіхъ поръ не заставишь говорить, пока не разсердишь его и не выведешь изъ терпвнія, то я оставиль почти нарочно много техь месть. которыя завосчивостью способны задрать за живое...»

Задътый самъ за живое ръзкимъ отгывомъ Бълинскаго (въ «Современникъ»), онъ пишетъ ему письмо, которое посыдаетъ черезъ общаго ихъ пріятеля Проконовича. Бълинскій получилъ это письмо во время своей заграничной поъздки (въ Зальцбруниъ). Онъ тогда же отвътилъ Гоголю знаменятымъ письмомъ, которое вскоръ разошлось по всей Россіи въ тысячахъ списковъ и по праву можетъ быть названо историческимъ. Великій кри-

тикъ излилъ въ этомъ письмѣ всю силу своего негодованія, вызваннаго мыслями Гоголя, казавшимися ему ретроградными. Это былъ настоящій политическій памфлетъ, направленный противъ всей реакціонной Россіи, противъ мракобѣсія, противъ дикихъ порядковъ и нравовъ, господствовавшихъ въ Россіи. Великій критикъ-публицистъ оплакивалъ «паденіе» великаго писателя, который, какъ казалось критику, сталъ на сторону реакціи и выступилъ съ лицемѣрной моральной проповѣдью противъ лучшей части общества, такъ или иначе боровшейся съ темными силами, враждебными свѣту, свободѣ и народному благу.

Огромное значеніе Гоголя, какъ художника-сатирика, ярко выступаеть изъ-за этихъ уничтожающихъ словъ порицанія и негодованія. Самое возмутительное въ «Перепискѣ съ друзьями», въ глазахъ Бѣлинскаго, это—то, что авторъ ея—не кто иной, какъ Гоголь, тотъ великій Гоголь, который въ теченіе цѣлаго десятилѣтія быль властителемъ думъ лучшихъ людей Россіи,—тотъ Гоголь, къ которому обращены эти страстныя слова письма: «Да, я любилъ васъ со всею страстью, какъ человѣкъ, кровью связанный со своею страною, можеть любить ея надежду, честь и славу, одного изъ великихъ вождей ея на пути сознанія, развитія и прогресса» 1)...

Письмо Бѣлинскаго возымѣло свое дѣйствіе. Можно думать, что Гоголь быль задѣть за живое не столько рѣзкостью тона, сколько причисленіемъ его къ лику ретроградовъ.

Въ отвътномъ письмъ (а также и въ письмъ къ Апненкову) онъ старается объяснить свое положеніе между тогдашними партіями—какъ нейтральное. Въ направленіп, которому служили Вълинскій и его единомышленники, онъ готовъ допустить «часть правды». Но это направленіе—односторониее, а онъ, Гоголь, ищетъ полноты истины.

Къ тому же 1847 году относится «Авторская исповёдь», гдѣ Гоголь возражаеть на обвиненія, вызванныя «Перепискою», и старается выяснить свою точку зрѣнія на вещи, а равно и раскрыть интимную сторону своей художественной работы, премущественно—работы надъ «Мертвыми душами».

Эта исторія съ «Перепискою», причинившая Гоголю столько огорченій, не могла внести миръ и успокоеніе въ

<sup>1)</sup> Знаменитое письмо могло появиться въ печати только въ концѣ 1905 года. Впервые издано "Свёточемъ".

его смятенную душу. Болъзпенные процессы, въ ней совершавшіеся, еще болье обострились. Можно даже сказать, что къ этому именно времени (1847-1848 гг.) относится кривисъ душевныхъ мукъ Гоголя, бользии его правственнаго сознанія. Кризису способствовало усиленіе религіознаго чувства, переходившаго теперь въ открытый мистицизмъ. Въ противоположность тому, что часто паблюдается у другихъ религіозныхъ натуръ, мистическая религіозность Гоголя не принесла ему душевнаго успокоенія. Все больше и больше овладъвалъ имъ суевърный страхъ: онъ боялся діавола, его козней и соблазновь, боялся смерти и загробныхь мукъ. Его религіозность была, если можно такъ выразиться, какая-то ппохондрическая, вь полномь соответстви съ инохондрическимъ характеромъ его правственнаго чувства. Вмёстё съ темъ его религіозность была отмітена чертами явпо архаическими: оть нея вѣяло чѣмъ-то устарѣлымъ, пережитымъ, средневѣковымъ, миоологическимъ. Этотъ родъ религіозности для душевныхъ организацій, склонныхъ къ моральной ипохондрів, не можеть быть источникомъ духовнаго оздоровленія. На быду судьба свела Гоголя съ однимъ изъ яркихъ представителей этой архаической религіозности, съ ржевскимъ протоіереемъ о. Матвеемъ Константиновскимъ, мрачнымъ фанатикомъ, имъвшимъ репутацію чуть ли не святого. Этоть человъть сразу пріобръль огромное вліяніе на Гоголя. Онъ пугаль поэта всьми угрозами загробныхъ возмездій и укрѣплялъ въ немъ убъжденіе. что вся его литературная дъятельность — нагубна и гръховна. Со всъми мизніями о. Матвъя Гоголь, в прочемъ, согласиться не могъ и пробовалъ возражать ему. Такъ, въ одномъ письмѣ (1847 г.) онъ старается убѣдить его въ томъ, что хорошіе романы и повъсти могуть принести пользу... Очевидно, онъ видълъ и понималъ всю узость, односторонность и отсталость понятій о. Матвія, и его смущала фанатическая и правовърная «крайность» последняго, какъ смущали всякія «крайности» и «излишества». Но, не соглашаясь съ о. Матвъемъ, онъ не имълъ силы сопротивляться ему: «крайности» о. Матвъл опирались на авторитетъ, который для Гоголя быль непререкаемымь. О. Матвый говориль оть имени Бога, основывался на непреложныхъ свидетельствахъ Свящ. Писація, на учени Церкви, на словахъ (пасителя... И говорилъ онъ красноръчиво. — онъ обнаруживалъ необычанную силу безно-

воротной убъжденности, онъ призываль къ покаянію, къ отреченію отъ міра, онъ пугалъ страшнымъ судомъ и повергалъ смущеннаго поэта, истерзаннаго внутренними противоръчіями, въ великій религіозный страхь и трепеть. Великій поэть быль безоруженъ и беззащитенъ передъ лицомъ фанатика. И кто знаетъ, быть можетъ, въ усиленномъ чтеніи Св. Писанія, отцовъ Церкви, богословскихъ книгъ бедный поэтъ искалъ опоры, защиты, аргументовъ противъ черезчуръ прямолинейной и безоглядной проповъди о. Матвъя, — проповъди, которая порою не могла не казаться Гоголю въ своемъ родъ разрушительной. Можно думать, что великій писатель, при всемъ вліяній на него о. Матв'я и его единомышленника графа А. П. Толстого, все-таки не поступался тыми возгрыніями, которыя опъ считалъ истинными; такъ онъ отстаивалъ искусство вообще, въ частности театръ, въ особенности поэзію Пушкина отъ нападокъ о. Матвѣя и графа А. П. Толстого; не поколебался онъ и въ увъренности, что его личная дъятельность. какъ художника, не только не противоръчить религи и нравственности, но, при извёстныхъ условіяхъ, можетъ стать неоскудеваемымъ источникомъ нравственнаго возрожденія русскаго общества. Онъ продолжаль вфрить, что Богъ съ высоты небесъ укажеть ему путь въ земной юдоли, и что этотъ путь ведеть къ окончанію великаго художественнаго труда, который быль главнымь дъломь его жизни. И онъ продолжалъ трудиться надъ второю и третьею частями «Мертвыхъ Душъ» и вибстб съ темъ — надъ своимъ «душевнымъ дъломъ», ища душевнаго обновленія и просвётлёнія въ религіозномъ созерцанін, въ молитвахъ и покаяніяхъ...

Въ началъ 1848 года, наконецъ, осуществилась его завътная мысль — посътить Іерусалимъ и поклониться гробу Господню...

Въ апрълъ того же года онъ вернулся въ Россію, пробылъ недълю въ Одессъ, откуда проъхалъ на родину для свиданія съ родными. Оттуда онъ писалъ (Шереметевой): «Мысль о моемъ давнемъ трудъ, о сочиненіи моемъ, меня не оставляетъ. Все мнъ такъ же, какъ и прежде, хочется такъ произвесть его, чтсбъ оно имъло доброе вліяніе, чтобъ образумились многіе п обратились бы къ тому, что должно быть въчно и незыблемо».

Въ этой книгѣ, т.-е. въ третьей части «Мертвыхъ душъ»,

онъ хотблъ начертать пдеалъ «русскаго человвка». Онъ все болве углублялся въ мудренное двло-отысканія и воспроизведенія идеальныхъ сторонь «русской породы», и въ его головь уже быль готовъ планъ грандіознаго труда, въ которомъ темная и гръшная Русь Чичиковыхъ, Собакевичей. Ноздревыхъ, Илюшкиныхъ, рисующихъ «адъ» тогданней действительности, пройдя черезъ «чистилище» второй части поэмы, гдв, въ лицв Тентетникова, генерала Бетришева, его дочери Уленьки, Хлобуева, Платоновыкъ и т. д., была изображена Русь кающаяся, ищущая выхода изъ тьмы, возрождающаяся, - явится наконецъ преображенною, просвятленною свътомъ христіанскаго идеала. Здъсь «русское» будеть слито съ «евангельскимъ». Для этой мечты Гоголь искаль фактическихъ обоснованій, точки опоры въ дъйствительности, въ психологіи русскаго человька, п ему казалось, что онъ уже близокъ къ решенію проблемы, что онъ удавливаеть въ глубинь русской души какіе-то намеки на возможность такой идеализацін. Задача состояла не въ томъ, чтобы выдумать идеального русского человъка, а чтобы найти въ самой дійствительности отправныя точки или почву для возсозданія идеальныхъ типовъ средствами строгаго реалистическаго искусства. И, вдумываясь въ психологію русскаго человіка. Гоголь уже приходиль къ выводу, гласящему, что «высокое достоинство русской породы состоить въ томъ, что она способна глубже, чтмъ другія, принять въ себя высокое слово евангельское, возводящее къ совершенству ченовъка...» какъ инсалъ онъ гр. Вьельгорской (30-го марта 1849 г.).

Но временамъ казалось поэту, что онъ уже близокъ къ осуществленію этой мечты, но бодрость и душевное просвѣтленіе скоро смѣнялись упадкомъ духа,—работа подвигалась туго, уныніе и разочарованіе вновь овладѣвали душой великаго поэта Руси,—и онъ снова замышляль уѣхать куда-нибудь подальше отъ этой неподдающейся художественному анбосозу Руси...—«Зачѣмъ пріѣхалъ я на родину! Мпѣ больше, чѣмъ кому-либо другому, нужно было держаться вдали»,—нисаль онъ матери въ маѣ 1849 года.

Въ нисьмахъ къ Смирновой, къ Вьельгорской, къ Данилевскому (въ мав и іюн'я того же года) онъ жалуется на нервическое разстройство, на упадокъ духа, хандру, уныніе и на то, что работа не подвигается впередъ. Осенью онъ и всколько

оправился. Работа возобновилась. «Все время мое отдано работь: часу ньть свободнаго... О, какъ спасительна работа!..» (пишеть онъ А. М. Вьельгорской въ октябрь 1849 г.). Онъ извъщаетъ Смирнову, что «время летитъ въ занятіяхъ, такъ что некогда думать о бользни», «что онъ больше читаетъ, чъмъ пишетъ». «Нужно внимательно, и даже очень внимательно, прочесть все то, что знакомитъ насъ съ краемъ нашимъ, нами позабытымъ».

Повидимому, въ душт Гоголя намтиался повороть—отъ въчнаго углубленія въ себя, въ свое "душевное дъло", къ объективному изученію Россіи. Въ немъ оживаетъ художникънаблюдатель и бытописатель. Его все болт занимаетъ мысль изучить Россію во всевозможныхъ отношеніяхъ: географическомъ, этнографическомъ, бытовомъ... Но вскорт онъ опять почувствовалъ упадокъ силъ. "Творчество мое лтиво",—сообщаль онъ Жуковскому въ декабрт 1849 г.,—"стараюсь не пропускать и минуты времени, не отхожу отъ стола, не отодвигаю бумаги, не опускаю пера; но строки лтить невозвратно".—Въ письмт къ Плетневу онъ жалуется на "умственную спячку" и говоритъ, что "Мертвыя души" тоже тянутся лтиво".

Тъмъ не менъе къ этому времени вторая часть "Мертвыхъ душъ", сожжениая въ 1845 г., была уже написана и обработана вновь. Въ іюлъ 1849 года Гоголь читалъ ее у Смирновыхъ въ Калугъ, о чемъ подробно говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Арнольди, присутствовавшій при чтеніи. Въ январъ 1850 г. Гоголь читалъ вторично у Аксаковыхъ (въ Москвъ) первую главу 2-ой части. Чтеніе произвело огромное впечатлѣніе. Въ томъ же январъ (19-го) опъ читаетъ тамъ же вторую главу.

Но физические недуги и угнетенное состояние духа не покидають поэта. Въ томъ же январѣ 1850 г. онъ пишеть Плетневу: "Не могу понять, что со мною дѣлается... Встаю рано, съ утра принимаюсь за перо, никого къ себѣ не впускаю, откладываю на сторону всѣ прочія дѣла, даже письма къ людямъ близкимъ, —и при всемъ томъ такъ немного изъ меня выходитъ строкъ! Кажется, просидѣлъ за работой не больше, какъ часъ; смотрю на часы — уже время обѣдать... Конецъ дѣлу не скоро, т. е. разумѣю конецъ "Мертвыхъ душъ". Всѣ почти главы соображены и даже набросацы, но именно не больше, какъ н аб р о с а н ы; собственно написанныхъ двѣ—три и только..." Отчеть о своей работь даль поэть и о. Матвью: "Такъ много есть, о чемъ сказать, а примешься за перо, не подымается! Жду какъ манны орошающаго освъженія свыше: всь бы мои силы отъ него двинулись. Видить Богь, ничего бы не хотвлось сказать, кромь того, что служить къ прославленію Его святого имени. Хотьлось бы живо, въ живыхъ примърахъ, показать темной моей братіи, живущей въ мірв и играющей жизнью, какъ игрушкой, что жизнь—не игрушка. И все, кажется, обдумано и готово; но перо не подымается. Нужной свъжести для работь пьть, и (не скрою передъ вами) это бываеть предметомъ тайныхъ страданій, чъмъ-то въ родъ креста..."

Весною повхаль онъ на югъ и побываль на родинв. Повидимому, роведка его оживила. Ему опять приходить мысль объ изучении России во всевозможныхъ отношенияхъ, и онъ написаль даже докладную записку, въ которой излагаетъ плань задуманнаго имъ обширнаго труда по отчизновъдвийо 1).

Вст интересы его теперь сосредоточены въ Россіи и тісно связаны съ его жизнью въ Россіи: "Если бы Одесса была хоть сколько-нибудь похожа климатомъ на Неаполь, разумъется, и не подумалъ бы о потядкт за границу", инсалъ онъ гр. А. П. Толстому. Онъ иншетъ (Смирновой), что съ радостью остался бы въ Россіи на зиму, и строитъ планы о томъ, какъ будущимъ лътомъ онъ прочиталъ бы Жуковскому 2-ю часть "Мертв. душъ" въ окончательномъ видъ, а осенью приступилъ бы къ печатанію... Въ письмт къ Стурдят, который звалъ его въ Одессу, онъ говорить: "Скажу вамъ откровенно, что мить не хочется и на три мъсяна оставлять Россію. Ни за что бы я не вытхалъ изъ Москвы, которую такъ люблю. Да и вообще Россія все мить становится ближе и ближе. Кромт свойства родины, есть въ ней что-то еще выше родины, точно какъ бы это та земля, откула ближе къ родинъ небесной..."

Осень 1850 г. и зиму (1850—1851 г.) онъ проведь въ Одессъ, гдъ наше южное солние лишь отчасти могло замънеть ему солнце Италіи, которое всегда такъ благотворно дъйствовало на его здоровье, физическое и душевное. Полготовляя здъсь къ печати 2-ю часть "Мертвыхъ душъ", онъ въ то же время хлоночетъ и о второмъ изданіи собранія своихъ сочиненій.

<sup>1)</sup> Въ главъ III-ей я привожу большую выдержку изъ этой записки.

Въ декабрѣ (1850 г.) онъ писалъ Смирновой: "О себѣ пока скажу, что Богъ хранитъ, даетъ силу работатъ и трудиться. Утро ностоянно проходитъ въ занятіяхъ; но тороплюсь и осматриваюсь. Художественное созданіе и въ словѣ то же, что картина. Нужно то отходить, то вновь подходить къ ней, смотрѣть ежеминутно, не выдается ли что-нибудь рѣзче и не нарушается ли нестройнымъ крикомъ всеобщее согласіе"...

Въ апрълъ 1851 г. Гоголь покинулъ Одессу. Май мъсяцъ онъ провелъ на родинъ—проъздомъ въ Москву; онъ везъ съ собою уже совсъмъ готовый къ печати 2-ой томъ "Мертвыхъ душъ". О немъ онъ писалъ Плетневу изъ Васильевки: "Что второй томъ "Мертвыхъ душъ" умнѣе перваго—это я могу сказать, какъ человѣкъ, пмѣющій вкусъ и притомъ умѣющій смотрѣть на себя, какъ на чужого человѣка... но какъ разсмотрю весъ процессъ, какъ творилось и производилось это созданіе, вижу, что уменъ только тотъ, кто творитъ и зиждетъ все, употребляя насъ вмѣсто кирпичей для постройки по тому фасаду и плану, котораго онъ одинъ истинный разумный Зодчій"...

Онъ всегда быль увѣренъ въ томъ, что Богъ неисповѣдимыми путями, болѣзнями, испытаніями ведеть его къ совершенію великаго подвига,—и на свой трудъ онъ смотрѣлъ, какъ на трудъ, нѣкоторымъ образомъ боговдохновенный. Теперь, когда дѣло его жизни близилось къ окончанію, въ душѣ великаго ипохондрика зашевелилось глухое сомнѣніе, когорое онъ страшился высказать. Можно думать, что не разъ навязывалась ему ужасная мысль: а что, если его трудъ не угоденъ Богу, если его внушилъ духъ зла, коварный искуситель и врагъ рода человѣческаго, возбудивъ въ душѣ поэта великое самомнѣніе и преступную гордыню?.. Какъ узнать правду? Какъ выйти изъ тяжелой непзвѣстности? И больной поэть не перестаетъ всѣми помыслами устремляться къ Всевышнему, онъ взываеть къ Его благости, опъ молится и, не полагаясь на силу молитвы, проситъ другихъ молиться о немъ...

Изъ Москвы, гдѣ онъ сейчасъ же почувствовалъ, что ему плохо, что ему "нуженъ Крымъ", онъ пишетъ матери: "Бѣдная моя голова! Доктора говорятъ, что надо ее оставить въ покоѣ... Молитесь обо мнѣ, добрѣйшая моя матушка. На ваши теплыя, на ваши близкія моему сердцу молитвы много у меня надежды. Трудно, трудно бываетъ мнѣ!" (2 сент. 1851 г.).

"Духъ мой крайне изнемогъ", жалуется онъ Шевыреву, сообщая, что влеть номолиться въ Троицко-Сергіевскую лавру. Въ это время мать звата его въ Васильевку на сватьбу дочери. Его самого тянуло на югъ, но онъ не имветъ силы двинуться въ путь и боится "прівхать на свадьбу больнымъ и всвхъ разстроить" 1). Ища отдыха и душевнаго освѣженія, онъ посьщаетъ Аксаковыхъ въ ихъ имвніи Абрамцевь, завзжаетъ въ Оптину пустынь, нотомъ—изъ Москвы—вдетъ молиться въ Троицко-Сергіевскую лавру... Въ концѣ октября упадокъ силъ и духа смѣнился нѣкоторымъ подъемомь; по временамъ Гоголь бывалъ веселъ и разговорчивъ, принималъ и посѣщалъ друзей. Въ 20-хъ числахъ октября онъ читалъ у себя на квартирѣ "Ревизора" для нъсколькихъ приглашенныхъ лицъ, въ числѣ которыхъ былъ и Тургеневъ, впослѣдствій онисавшій это чтеніе въ своихъ воспоминаніяхъ о Гоголь.

Въ ноябрѣ и декабрѣ опъ чувствуетъ себя сравнительнонедурно и строитъ планы о побздкѣ весною на югъ. Опъ работаетъ... Друзья находять его «довольно бодрымъ»... Но по всему видно, что подъ этимъ наружнымъ спокойствіемъ скрывается что-то тревожное; ожавленіе было обманчивымъ, и всякая случайность могла нарушить неустойчивое равновѣсіе его души.

Въ концѣ января 1852 г. умерла Е. М. Хомякова, и эта смерть потрясла Гоголя. С. Т. Аксаковъ, въ своихъ воспоминаніяхъ, говорить объ этомъ слѣдующее: «Вотъ какъ!»— сказалъ онъ (Гоголь), грустно здороваясь съ нами: говорилъ, что боялся въ тотъ день посылать узнать о ея (Хомяковой) здоровьѣ и только ждалъ извѣщенія отъ Хомяковыхъ, которое и не замедлило прійти. Спросилъ, гдѣ ее положатъ. Мы сказали: въ Даниловомъ монастырѣ, возлѣ Языкова. Онъ по-качалъ головой, сказалъ что-то объ Языковѣ и задумался такъ, что намъ страшно стало: онъ, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался въ темъ же положеніи такъ долго, что мы нарочно заговорили о другомъ, чтобы прервать его мысли».

Онъ быль такъ разстроенъ, что не могъ быть на нохоронахъ. «Страшна минута смерти»! — говорилъ онъ послъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Не желая огорчить родныхъ, онъ двинулея-было въ нуть, но доъхалъ только до Калуги, откуда вернулся обратие въ Москву.

того у Аксаковыхъ. На чье-то замѣчаніе, что смерть не страшна тому, кто увѣренъ въ милости Божьей къ страждущему человѣку,—онъ сказалъ: «Ну, объ этомъ надо спросить тѣхъ, кто перешелъ черезъ эту минуту».

Видимо, онъ думалъ и о своей смерти, приближение которой чувствоваль, и всегда мучившая его грозная загадка загробнаго существованія и посмертнаго возмездія снова стала передъ нимъ; онъ вперялъ умственный взоръ въ эту тьму неизвъстности, и его душа то изнемогала въ сомнъніяхъ, то ободрялась надеждою. И, какъ обыкновенно бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, обостреніе сомнѣній, угнетенное состояніе духа, можеть быть, минутами близкое къ отчаянію, вызывали, въ видъ естественной реакціи, временный подъемъ душевныхъ силь, родь внушенія со стороны инстинкта самосохраненія. По свидьтельству современниковь, Гоголь вдругь пріободрился, «сдълался спокоенъ, какъ-то свътель духомъ, почти весель»...— 1-го февраля (1852) послъ объдни онъ пришелъ къ Аксаковымъ, и вотъ что впоследствін занесъ въ свои «Воспоминанія» С. Т. Аксаковъ: «Видно было, что онъ находился подъ впечатльніемь этой службы; мысли его были всь обращены къ тому міру. Онъ быль світель, даже весель, говориль много и все объ одномъ и томъ же. Онъ говорилъ, что надобно посовътовать Хомякову читать самому псалтырь по своей женъ, что это для него и для нея будеть утвшение, и что только имветь смысль чтеніе псалтыря по умершимь, когда читають близкіе; говориль о впечатлівній смерти на людей, о томъ, возможно ли челов ка воспитать такъ съ малыхъ лътъ, чтобы онъ понималъ значеніе жизни и смерти, чтобы смерть не поражала, какъ будто нечаянность»...

Подъ рсковою властью мыслей о смерти вскорѣ опять затуманилась душа поэта. 4 февраля опъ задумалъ говѣть и, какъ сообщалъ потомъ пользовавшій его докторъ Тарасенковъ, «прекратилъ занятіе корректурой, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилъ до крайности свое питаніе и сонъ»... Передъ исповѣдью (7-го февр.) онъ «палъ ницъ и много плакалъ». Онъ, видимо, слабѣлъ тѣломъ и духомъ. «Причащеніе его не успокоило: онъ остался также мраченъ, не хотѣлъ въ этотъ день ничего ѣсть, и когда послѣ съѣлъ просфору, то назвалъ себя обжорою, окаяннымъ, нетерпѣливцемъ и сокрушался сильно»...

Онъ изнурялъ себя постомъ, который былъ настоящимъ

голоданіемъ. Онъ изнемогалъ душевно подъ гнетомъ вічныхъ номысловь о близкой смерти, объ ожидающемъ его Страшномъ Судъ. И вотъ 11 февраля, послъ всенощной у графа А. И. Толстого, въ дом'в котораго жилъ тогда Гоголь, онъ «долго молился одинъ въ своей комнать», а «въ три часа утра призвалъ своего мальчика и спросилъ его, тепло ли въ другой половинь его покоевъ. «Свъжо», отвъчаль тоть. «Дай мить илацъ; пойдемъ: мив нужно тамъ распорядиться». И онъ пошель со свічей въ рукахъ, крестясь во всякой комнаті, черезъ которую проходиль. Пришель, вельль открыть трубу, какъ можно тише, чтобъ никого не разбудить, и потомъ подать изъ шкафа портфель. Когда портфель быль принесень, онъ вынуль оттуда связку тетрадей, перевязанныхъ тесечкой, положилъ ее въ нечь и зажегъ свъчей изъ своихъ рукъ. Мальчикъ, догадавшись, упаль передъ нимъ на кольни и сказалъ: «Баринъ, что вы это? перестаньте!» — «Не твое дело», — отвечаль онъ-«молись»! Мальчикъ началъ плакать и просить его. Между тымь огонь угасалт, послы того какъ обгорыли углы у тетрадей. Гоголь замётиль это, вынуль связку изъ печки, развязаль тесемку и, уложивъ листы такъ, чтобъ легче было приняться огню, зажегь опять и сель на стуле передь огнемь, ожидая, пока все сгорить и истябеть. Тогда онь, перекрестясь, воротился въ прежнюю свою комнату, поцеловаль мальчика, легь на дивань и заплакаль». Такъ описываеть знаменитую сцену сожженія 2-ой части «Мерт. Душъ» М. П. Погодинь. То жевъ общемъ сообщаеть и д-ръ Тарасенковъ.

А на следующій день (12 февр.) Гоголь сказаль графу Толстому: «Вообразите, какъ сплень злой духь! Я хотель сжечь бумаги, давно уже на то определенныя, а сжегь главы «Мертвыхъ Душъ», которыя хотель оставить друзьямъ на намять о моей смерти».

Онъ слегъ и упорно отказывался отъ лъченія. Врачи (Тарасенковъ, Альфонскій, Оверъ и др.) терялись въ догадкахъ о характеръ бользин. — и всъ средства, къ которымъ они прибъгали, оказались напрасными. Умирающій упорно противился льченію. 18 февраля онъ причастился. Погодинъ сообщаетъ, что онъ обнаружилъ радость, когда ему предложили это, и «выслушалъ всъ евангелія въ полной намяти, проливая слезы». 20-го февр. былъ созванъ консиліумъ врачей. Они, повидимому. согласились въ томъ, что помимо разныхъ бользией, тълесныхъ

и душевныхъ, изнурившихъ организмъ Гоголя, онъ въ данное время истощенъ продолжительнымъ голоданіемъ. Онъ отказывался отъ пищи и умиралъ голодной смертью.—Врачи рѣшили: «Надобно кормить его насильно». Но было уже поздно. 20-го ночью началась агонія, а на слѣдующій день—21-го февраля въ 8 часовъ утра—Гоголь умеръ.

25 февраля, послъ отпъванія въ университетской церкви, прахъ великаго поэта и страдальца былъ погребенъ въ Дани-

ловомъ монастыръ.

### ГЛАВА І.

## "Пушкинское" и "Гоголевское".

Художественный методъ Гоголя.

Ι.

Въ настоящемъ опыть, посвященномъ Гоголю, мы будемъ неоднократно вспоминать и Пушкина: намъ кажется, что со-поставление этихъ двухъ художественныхъ гениевъ, столь важное въ историко-литературномъ изслъдовании, можетъ оказаться илодотворнымъ и въ опыть психологическаго изучения натуры и творчества Гоголя.

Для современниковъ, близко знавшихъ Гоголя, этотъ человѣкъ быль загадкою. Загадкою остается онъ и для насъ. Лишь одно въ немъ совершенно ясно и не подлежить спору: это именно его великій художественный геній, благодаря которому имя Гоголя стоить въ ряду величайшихъ имень всэмірной литературы. Насколько ясна эта сторона натуры Гоголя, настолько темно все остальное. Изучая Гоголя, какъ умъ, какъ характеръ, мы повсюду нагалкиваемся на противоръчія и неясности. Порою эти противорьчія сгущаются въ родъ какихъ-то «парадоксовъ души», которые, при ослінительномъ свътъ художественнаго генія Гоголя, кажутся еще парадоксальнье чьмъ, быть можетъ, они были на самомъ дѣль.

Сопоставление этой замкнугой, противорачивой и неуравновашенной натуры съ открытою, гармоничною и уравновашенною натурою Пушкина, очная ставка этого огромнаго темнаго ума съ огромнымь сватлымъ умомь Пушкина могли бы, думается намъ, пролить изкоторый свать на проблемму исихологіи Гоголя и его творчества или, по крайней мара, содайствовать правильной постановка ся.

Въ этомъ солоставлении чисто-психологический вопросъ.

по нѣкоторымъ пунктамъ, близко подходитъ къ вопросу историко-литературному: сравниваемыя величины сопоставлены самой исторіей. Начинатели и основоположники нашей художественной литературы и нашего національнаго и общественнаго самосознанія (поскольку оно связывается съ художественнымъ творчествомъ), Пушкинъ и Гоголь были сотрудниками, другь друга дополнявшими, въ одномъ и томъ же великомъ историческомъ дѣлѣ.

Въ лицъ Пушкина мы имъемъ генія съ извъстными пріемами творчества, съ извъстнымъ художественнымъ міросозерпаніемь, съ опредёленнымъ даромъ чувствовать и понимать жизнь и человека. Въ лице Гоголя мы имеемъ генія съ иными пріемами творчества, съ совсёмъ другимъ художественнымъ міросозерцаніемъ, -- и его даръ чувствовать и понимать жизнь и человека быль совсемь не такой, какъ у Пушкина. Эти два художественныя воззрвнія, «пушкинское» и «гоголевское», явились отправными точками, отъ которыхъ пошли два направленія, два теченія, дві школы, до сихъ поръ еще не сказавшія своего последняго слова и продолжающія развиваться дальше. «Пушкинское» и «гоголевское» проходять, сь 30-хъ годовъ и досель, по всей русской литературь, то сближаясь, то разлучаясь, дополняя другь друга, стремясь слиться въ какомъ-то высшемъ синтезъ, который, однако, еще далекъ, еще недостижимъ...

Изученіе ихъ развитія, различныхъ метаморфозъ и особыхъ выраженій, какія они получили въ творчествѣ нашихъ писателей отъ 30-хъ годовъ до послѣдняго времени, составляетъ задачу историко-литературную. Ихъ изученіе со стороны исихологіи творчества Пушкина, Гоголя и ихъ преемниковъ, а также и раскрытіе исихологическаго состава и характера «пушкинскаго» и «гоголевскаго» въ русской художественной литературѣ образуетъ особую—психологическую—задачу.

Предлагаемая работа есть небольшой посильный вкладъ въ разработку нѣкоторыхъ вопросовъ, относящихся къ этой задачѣ.

Прежде всего мы займемся вопросомь о художественномъ методѣ Гоголя и постараемся сопоставить этотъ методъ съ тѣмъ, на которомъ основывалось творчество Пушкина. Здѣсь различіе между «пушкинскимъ» и «гоголевскимъ» выступаеть съ особливой ясностью.

Художественных методовь столько же, сколько и художниковь. Но это разнообразіе легко подводится подъ два типа, подъ два основныя формы художественнаго познанія. Эти два формы суть та же, что и въ научномъ познаніи: наблю деніе и опыть. Художникъ либо наблю даетъ дъйствительность и въ своемъ произведеніи подводить итогъ этимъ наблюденіямъ, либо далаетъ своего рода опыты надъ дъйствительностью, выдаля извастныя, его интересующія, черты или стороны ея, которыя въ ней вовсе не выдаляются, а всегда, или въ огромномъ большинствъ случаевъ, даны въ соединеніи съ другими чертами или сторонами, ихъ заслоняющими. Сравнительно разко оба метода совмащаются въ равной мара въ дарованіи одного и того же художника. Въ большинствъ случаевъ художники—либо наблюдатели по преимуществу, —либо по преимуществу экспериментаторы.

Въ чемъ сущность этихъ двухъ методовъ? Къ чему сводятся принципіальныя— психологическія— различія между ними?

Отвёть на это могуть дать только изследованія процесса творчества у различных художниковь. Пока мы должны ограничиться установленіемь общаго—предварительнаго—понятія о художнике-наблюдателе сь одной стороны и о художнике-экспериментаторе— сь другой.

Художникъ-наблюдатель, изучая людей и жизнь, стремится дать по возможности правдивое воспроизведение дъйствительности, освътить картину такъ, какъ освъщена сама дъйствительность. Онь не склоненъ очень сгущать краски или затушевывать извъстныя явленія жизни: онъ не придаетъ особливаго развитія одной сторонъ дъйствительности въ ущербъ другой; онъ старается «соблюдать пропорціп». И на его картинъ жизнь изображена такъ, какъ она есть, но только въ образахъ тниичныхъ, обобщающихъ, при чемъ комбинація, постановка и разработка этихъ образовъ наводять насъ на думы и выводы, на какіе подлинная жизнь не наведеть. По пронзведеніямъ этого рода можно судить о той дъйствительности, которая въ имхъ изображена, и на нихъ зачастую удобнъе, чъмъ на фактахъ самой жизни, обосновывается критика этой послъдней.

Художникъ-наблюдатель присматривается и прислушивается къ жизни, стараясь понять ее, — онъ стремится постичь человъка въжизни, взятой въ опредъленныхъ предълахъ мъста и времени,—и въ своихъ созданіяхъ онъ не столько обнаруживаетъ и передаетъ намъ свою манеру видъть и слышать жизнь и свой даръ чувствовать человъка, сколько, открывая намъ широкую картину дъйствительности, даетъ намъ возможность, при ея помощи, развивать и совершенствовать наше собственное пониманіе жизни, нашъ собственный даръ чувствовать человъка и все человъческое.

Къ этому—наблюдательному—роду творчества принадлежать произведенія Пушкина («Евгеній Онѣгинъ», «Камитанская дочка» и др.), Лермонтова («Герой нашего времени), Гончарова, Тургенева, Писемскаго, Л. Н. Толстого (кромѣ его тенденціозныхъ, морализирующихъ произведеній, относящихся къ творчеству опытному, какъ напр. «Крейцерова соната» и др.).

Это и есть тотъ родъ творчества, о которомъ говорилъ Тургеневъ въ извъстномъ письмъ къ Дружинину 1856 г.: «...вы помните, что я, поклонникъ и малъйшій послъдователь Гоголя, толковалъ вамъ когда-то о необходимости возвращенія Пушкинскаго элемента, въ противовѣсіе Гоголевскому». Въ 1859 г. Тургеневъ прочелъ въ Петербургв лекцію о Пушкинв, въ которой онъ очертиль сущность «пушкинскаго элемента». Насколько можно судить по сохранившемуся отрывку 1), Тургеневъ видѣлъ эту сущность въ томъ спокойномъ и свътломъ поэтическомъ созерцаніи, которое составляеть характерную черту Пушкина, какъ художника, въ противоположность резкому отрицанію нашей действительности, выразившемуся въ сатиръ Гоголя и въ нъкоторыхъ (лирическихъ) произведеніяхъ Лермонтова. Яснье улавливаемъ мы точку зрвнія Тургенева въ вышеуказанномъ письмв къ Дружинину. гдъ, вслъдъ за приведенными словами, читаемъ: «Стремленіе къ безпристрастію и къ пстинѣ всецѣлой есть одно изъ немногихъ добрыхъ качествъ, за которыя я благодаренъ природъ. давшей мет ихъ». Отсюда мы вправт заключить, что Тургеневъ подъ «пушкинскимъ элементомъ» понималъ такое творчество, которое стремится къ возможно полному, всестороннему и правдивому воспроизведенію д'йствительности. 20 льть спустя, въ письмѣ къ Кигну (1876 г.) Тургеневъ слъдую-

<sup>1)</sup> Онъ цитпруется въ "Воспоминаніяхъ о Бѣлинскомъ".

щимъ образомъ характеризуетъ этотъ родъ творчества, называя его «объективнымъ»: «...нужно... вникать во все окружающее. стараться не только уловить жизнь во всёхъ ея проявленіяхъ, но и понимать ее, понимать тѣ законы, по которымъ она движется и которые не всегда выступаютъ наружу: нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ—и со всёмъ тѣмъ всегда оставаться вѣрнымъ правдѣ, не довольствоваться поверхностнымъ изученіемъ, чуждаться эффектовъ и фальши».

Нъкоторыя выраженія и наставленія въ этихъ выдержкахъ могуть быть отнесены одинаково какъ, къ творчеству наблюдательному, такъ и къ опытному. Таковъ, напр., совътъ «чуждаться эффектовъ и фальши», а равно и тотъ, который гласить, что «нужно сквозь пгру случайностей добиваться до ти-повъ»: мы знаемъ шарокіе и великолепные типы, построенные путемъ опытнаго творчества (напр., Хлестаковъ. Маниловъ, Ноздревъ, Собакевичъ и др.). Но зато характернымъ именно для наблюдательнаго творчества, однимь изъ величайшихъ представителей котораго и быль Тургеневъ, является то, что онь говорить о стремлени къ безиристрастію и правды всецьлой и потомъ о необходимости «понимать жизнь и та законы, по которымь она движется». Трудно представить себь художника-наблюдателя, которому было бы чуждо это стремленіе къ «безпристрастію и всецёлой правді» и который не обладаль бы извыстнымь «пониманіемь жизни» и «ея движенія», по крайней мірь, въ тыхъ предылахь времени и мыста. какими ограничиваются его паблюденія. Напротивъ, какъ безь того, такъ и безъ другого вполив возможенъ художникъэкспериментаторъ, даже великій: таковъ и быль Гоголь. Правильнье будеть сказать, что для художника-экспериментатора стремление къ безпристрастию и «всецьлой правді,» означало бы, что онъ отказывается производить свои оныты. Если онъ понимаетъ жизнь эпохи и ея движеніе, то эго, конечно, для него большое преимущество. Но это является вы его творчествъ необходимостью тонко въ точъ сичав. когда его художественные опыты будуть направлены на нознаніе спрытыхъ, невидныхъ вь дійствительности пружинь. движущихъ жизнь, на обнаружение едва зам втныхъ симптомовъ новыхъ явленій, на раскрытіе истинной природы и значенія назр'ввающих перем'ять, неясныхь или незаміченных при обыкновенномъ цаблюденій жизни.

Художественныя произведенія, основанныя на чистомъ наблюденіи, становятся «документами», по которымъ можно изучать эпоху. Произведенія искусства опытнаго для этой цѣли либо совсѣмъ непригодны, либо требуютъ тщательныхъ разъясненій, различныхъ ограниченій и оговорокъ.

Къ сказанному добавлю еще то, о чемъ я уже писалъ неоднократно <sup>1</sup>), а именно, что художники въ своихъ наблюденіяхъ надъ дѣйствительностью идутъ двумя путями: первый путь — отъ себя, второй—не отъ себя. Обыкновенно однимъ художникамъ свойственъ по преимуществу первый путь, другимъ — второй. Для обозначенія этихъ двухъ путей художественнаго наблюденія я беру термины субъективный—для перваго, объективный—для второго.

Когда мы приступаемъ къ изученію творчества извъстнаго художника, то на первыхъ же порахъ встрвчаемся съ необходимостью установить, какимъ путемъ шелъ онъ въ своихъ наблюденіяхъ и что именно лежитъ въ основъ лучшихъ его созданій: самоанализъ и наблюденіе натуръ, родственныхъ его собственной, изученіе его ближайшей среды, гдъ онъ выросъ и воспитался, или же наблюденія надъ чуждою ему жизнью, изученіе натуръ и характеровъ, для пониманія которыхъ самонаблюденіе не достаточно. Нельзя вполнъ понять художника, не зная, изъ какого окна онъ смотритъ на Божій міръ. Когда мы опредъляемъ путь, которымъ шелъ художникъ, тогда многое въ его произведеніяхъ открывается намъ въ иномъ, болье правильномъ освъщеніи, —мы начинаемъ понимать интимную сторону его творчества и можемъ прослъдить тайное прозябаніе и рость его художественныхъ идей.

Итакъ, творчество наблюдательное бываетъ либо по преимуществу субъективное («отъ себя»), либо по преимуществу объективное («не отъ себя»), либо, наконецъ, такое, въ которомъ оба направленія совмѣщаются приблизительно въ равной мѣрѣ.

Ниже увидимъ, что различение этихъ двухъ путей относится также и къ творчеству опытному, къ характеристик ѣ котораго и обратимся теперь.

Какъ въ наукъ, такъ и въ искусствъ опыть есть разно-

 $<sup>^1)</sup>$  См. томъ II настоящаго изданія ("И. С. Тургеневъ" и т. III "Л. Н. Толстой) какъ художникъ".

видиость наблюденія. Но, въ противоположность опыту научному, опыть въ искусствъ сопряженъ съ извъстными особенностями дарованія и всей душевной организацін художника. Говоря такъ, мы имъемъ въ виду тъхъ художниковъ, для которыхъ этоть родъ творчества составляеть призваніе, а не тъхъ, у кого онъ является второстепеннымъ, дополнительнымъ элементомъ въ ихъ дарованіи.

Образцами онытнаго творчества, основаннаго на особенностяхъ ума, дарованія и всей душевной организаціи художника, являются у насъ «Ревизоръ», «Мертвыя души», сатира Салтыкова, произведенія Достоевскаго, Гл. Успенскаго, Чехова.

Въ произведеніяхъ художниковъ-экспериментаторовъ мы имѣемъ не широкую и разностороннюю картину жизни, а нарочитый подборъ извѣстныхъ чертъ, въ силу котораго изучаемая художникомъ сторона жизни выступаетъ такъ ирко, такъ отчетливо, что ея смыслъ, ея роль становятся понятны всѣмъ. Въ нашей жизни вообще не мало сторонъ, ускользающихъ отъ сознанія или отъ правильной оцѣнки: мы плохо сознаемъ, напр., ту массу пошлости, глупости, умственной п нравственной темноты, какая разлита въ насъ и вокругъ насъ. Этого-то рода «стороны жизни» рѣзко выдѣляются въ художественныхъ опытахъ и выставляются, какъ говорилъ Гоголь, «на всенародныя очи» въ созданіяхъ художниковъ-экспериментаторовъ.

Художественный оныть, какъ методъ художественнаго познанія человѣка и жизни, ближайшимъ образомъ основань на дѣйствіи извѣстныхъ чувствъ, которыми художникъ реагируетъ на впечатлѣнія дѣйствительности, и на особомъ порядкѣ мыслей, соотвѣтствующемъ этимъ чувствамъ. Эти чувства и мысли образуютъ ту и и т у и цію, съ которою художникъ приступаетъ къ опыту и которая даетъ послѣднему надлежащее направленіе.

Повидимому, иначе стоить дело у художниковъ-наблюдателей: у нихъ созерцаніе жизни и изученіе людей вызываеть игру весьма разнообразныхъ чувствъ и мыслей, другь друга уравновешивающихъ. Въ этомъ смыслё душа такого художника отражаеть самую жизнь, которая есть равновесіе, хотя и неустойчивое, разнообразныхъ исихическихъ факторовъ—чувствъ, страстей, мыслей, идеаловъ. П въ творческой работе художника ни одно изъ его предварительныхъ чувствъ,

ни одна изъ его интуитивныхъ мыслей не получаетъ рушительнаго преобладанія надъ другими и не является направляющимъ и предръшающимъ моментомъ художественныхъ изысканій, которыя такимъ образомъ сохраняють характеръ строго индуктивной работы мышленія. Напротивъ, у художниковъ-экспериментаторовъ мы видимъ предръшающую дъятельность извъстныхъ чувствъ и мыслей, наличность и функція которыхъ обусловливаются самою натурой, всёмъ душевнымъ складомъ художника. У одного мы явственно различаемъ тотъ порядокъ чувствъ и мыслей, который Гоголь называлъ «впдимымъ смѣхомъ и незримыми, невѣдомыми слезами», у другого— ѣдкій сарказмъ и гнѣвное отрицаніе (Салтыковъ), у третьяго— глубокую скорбь о человѣкѣ и особое «унылое чувство жалости» при вида несовершенствъ и бадствій людского существованія (Чеховъ) и т. д. Это—тѣ, которыя встречаются чаще другихъ и могутъ даже считаться явленіями обычными во всякой художественной литературь (разумфется, въ весьма разнообразныхъ формахъ и въ соединенія съ талантами различной глубины и силы). Но бывають и иныя - ръдкія - интуиціи, представляющія собою нічто исключительное и трудно-опредёлимое. Таковъ, напр., тотъ порядокъ мыслей и чувствъ, подъ властью котораго творилъ Достоевскій и который впервые быль раскрыть и опредёлень Н. К. Михайловскимъ въ стать в "Жестокій таланть". Не вполнъ выясненъ еще характеръ интуиціи (повидимому, очень сложной и своеобразной) Гл. Успенскаго.

Все это по преимуществу мрачныя, скорбныя настроенія. Но возможно, что, при болье тщательномъ изученіи искусства съ точки зрвнія, здысь намыченной, найдутся художники-экспериментаторы, творившіе подъ наитіемъ болье свытлыхъ созерцаній, болье радужныхъ чувствъ и мыслей. Во всякомъ случаю они—рыдкость, ихъ нужно искать, между тымъ какъ представители мрачныхъ и скорбныхъ интупцій — явленіе обычное. Это фактъ знаменательный, паводящій на рядъ новыхъ вопросовъ, ныкоторые изъ которыхъ мы затронемъ впослыдствій...

Во избъжаніе недоразумѣній, укажу сейчась же на то, что многія изъ чувствъ и мыслей, служащихъ интунціей художниковъ-экспериментаторовъ, вовсе не составляютъ ихъ монополіи и найдутся и у художниковъ-наблюдателей. Но

ръзкое различе между тъми и другими въ томъ, что, какъ было уже указано выше, у вторыхъ эти чувства и мысли уравновъшиваются чувствами и мыслями иного порядка и иной окраски, а главное — они являются не какъ интуиція, не въ началъ процесса, а чаще всего въ конць его, какъ результать творчества, какъ горькій осадокъ созерцаній, какъ итогъ художественнаго познавія добра и зла человъческаго. Во всякомъ случав, это у нихъ не предпосылка и не пружина творчества, какъ у художниковъ-экспериментаторовъ.

У этихъ последнихъ всегда наготове данный порядовъ чувствъ и мыслей, являющійся свойственною данному художнику формою апперценціи впечатленій живни, и и и огда эта форма получаеть характеръ «большой посылки» «художественнаго силлогизма», такъ что процессъ творчества перестаеть быть строго-пидуктивнымъ и становится въ и в кото рой и врё дедуктивнымъ и образъ, созданный художникомъ, остается, конечно, въ существе дела пидуктивнымъ обобщеніемъ извёстныхъ явленій, по онъ въ то же время сбивается и на выводъ изъ «предносылки интушціп», на иллюстрацію къ ней. Это заметно у Гл. Успенскаго въ большей степени, чёмъ у другихъ.

Интупція художника-экспериментатора даеть твор сескому процессу опреділенное направленіе и різко выраженную «окраску», и явленія жизни, образы людей выходять изъ этой лабораторіи въ коренной переработкі, въ особомъ освіщенів. Тогда-то и получается столь извістный художественный эффекть: образы и картины, строго говоря, не правдивы въ смыслі точнаго и разносторонняго изображенія дійствительности, но они по-своему говорять намъ о дійствительности, о человікі, о человічестві ту грустиую или страшную правду, которую не скажеть самое точное изображеніе ихъ.

#### II.

Эту страниную и грустную правду сразу схватиль и поияль Пушкинь, когда Гоголь читаль ему первые наброски «Мертвыхъ душь».

Въ извістныхъ «Письмахъ къ разнымъ лицамъ по новоду «Мертвыхъ душъ» Гоголь говорить объ этомъ такъ:
«... когда я чвталъ Пушкину первыя главы изъ Мертвыхъ

душъ», въ томъ видъ, какъ онъ были прежде, то Пушкинъ, который всегда смёялся при моемъ чтеніи (онъ же быль охотникъ до смѣха), началъ понемногу становиться все сумрачнье, сумрачнье, а наконець сдылался совсымь мрачень. Когда же чтеніе кончилось, онъ произнесъ голосомъ тоски: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Меня это изумило. Пушкинь, который такъ зналь Россію, не замѣтиль, что все это каррикатура и моя собственная выдумка! Тутъ-то я увидълъ, что значитъ дъло, взятое изъ души, и вообще душевная правда, и въ какомъ ужасающемъ для человъка видъ можетъ быть ему представлена тьма и пугающее отсутствіе свѣта 1). Съ этихъ поръ я уже сталъ думать только о томъ, какъ бы смягчить то тягостное впечатлъніе, которое могли произвести «Мертвыя души» (Сочин. Гоголя подъ редакціей Н. С. Тихонравова, 1889 г., т. IV, стр. 88—89). 2).

Приведенное свидетельство Гоголя весьма характерно, какъ для него самого, такъ и для того художественнаго метода, однимъ изъ величайшихъ представителей котораго онъ является.

Для самого Гоголя здёсь характерны сбивчивость и неясность рефлектирующей мысли художника, т. е. пониманія путей и пріемовъ собственнаго творчества. Объ этой сторонъ ума Гоголя у насъ будетъ ръчь въ дальнъйшемъ. Здъсь же постараемся извлечь изъ приведеннаго отрывка то, что относится къ сейчасъ занимающему насъ вопросу о различіи между наблюденіемъ и опытомъ въ искусстві, между душевнымъ складомъ художника-наблюдателя и душевнымъ складомъ художника-эспериментатора.

Отрывокъ, въ согласіи съ показаніемъ Смирновой, прежде всего устанавливаеть историческій факть, представляющій вы-

<sup>1)</sup> Разрядка Гоголя. 2) Въ "Запискахъ" Смирновой этотъ (али, м. б., другой) эпизодъ разсказанъ такъ: "Пушкинъ приказалъ хохлу, всегда неподатливому, когда онъ долженъ читать, принести рукопись начала его романа "Мертвыя души". Пока онъ читаль, Пушкинъ, по своей привычкъ, ходиль взадъ и впередъ по комнать. Наконецъ, онъ остановился передъ Гоголемъ, положилъ ему объ руки на плечи, долго смотрълъ на него и сказаль ему: "Уминца!", затымь поцыловаль его въ лобъ въ знакъ одобренія. Потомъ онъ снова заходиль по комнать, подошель ко мнв и сказаль: "Невеселая штука—Россія!" Надъ нѣкоторыми сцецами онъ отъ всей души хохоталъ, потомъ сдълался чрезвычайно задумчивъ и, наконецъ, сказалъ Жуковскому: "А маленькій-то хохолъ каковъ?" ("Записки А. О. Смирновой", часть І, стр. 313).

сокій интересь какъ историко-литературный, такъ и исихологическій.

Пушкинъ, художникъ-наблюдатель по-преимуществу, сразу поняль, прочувствоваль и оцениль тоть, вероятно, еще далеко несовершенный, но, безъ сомньийя, уже геніальный эксперименть, который быль сділань Гоголемь въ первом в набросків «Мертвыхъ душъ». И, конечно, при всемъ несовершенствъ это не была «каррикатура и выдумка», какъ выражается Гоголь въ приведенномъ отрывкь. Если бы это была «каррикатура и выдумка», Пушквиъ продолжалъ бы смъяться. Но великому художнику-наблюдателю было не до смеха, --онъ, съ его изумительнымь даромъ пониманія, хорошо поняль всю глубину захвата, всю обнаженную правду того, что читаль ему великій художникъ-экспериментаторъ. Мрачное настроеніе Пушкина, эти, сказанныя «голосомъ тоски», слова его: «Боже, какъ грустна наша Россія» — служать наплучшимъ доказательствомъ того, что опытъ былъ поставленъ правильно, чтопри всъхъ недостаткахъ первоначальнаго исполненія — онъ являлся настоящимъ откровеніемъ, новымъ словомъ въ русскомъ искусствъ и русскомъ самосознании.

Опыть быль проведень смёло и рёзко. Непосредственно передь вышеприведенной выдержкой о Пушкинё Гоголь говорить: "Если бы кто видёль тё чудовища, которыя выходили изъ-подъ пера моего вначалё для меня самого, онь бы, точно, содрогнулся". И самый эпизодь о Пушкинё приводится какь подтвержденіе этого. Но, очевидно, эти "чудовища" не были какіе-пибудь невёроятные злодёй,—это были все тё же Чичиковы, Маниловы, Ноздревы. Собакевичи, только рёзче очерченные, болёе безнадежно пошлые, еще не подвергшіеся тому "смягченію", о которомъ говорить Гоголь ниже. Угнетающимъ образомъ дёйствоваль результать општа,—добытая имъ правда о пошломъ человёкё, картина русской жизни, полной "тьмы", "пугающее отсутствіе свёта".

Конечно, Пушкинъ и безъ Гоголя отлично зналъ, какъ много на Руси пошлости и тьмы, но онъ не реагироваль на это такъ, какъ реагировалъ Гоголь. Это обусловливалось всею натурой Пушкина и его художественнымь геніемъ. Душа. открытая всёмъ впечатлѣніямъ и всёмъ сочувствіямъ, любознательный и воспріимчивый умъ, разносторопность натуры, живой интересъкъ дъйствительности въ многообразныхъ ея проявленіяхъ—та-

ковы тѣ особенности душевной организаціи, въ силу которыхъ Пушкинъ былъ въ искусствѣ художникомъ-наблюдателемъ и вмѣстѣ мыслителемъ, а въ жизни—мыслящимъ и передовымъ человѣкомъ, откликавшимся на всѣ важнѣйшіе интересы и запросы времени. Онъ бодро и сочувственио, съ заинтересованнымъ вниманіемъ, смотрѣлъ на Божій міръ и, наблюдая людей и жизнь, почти не заглядывалъ, развѣ урывками и случайно, въ свою собственную душу. Онъ не думалъ о себѣ, какъ не думаетъ о себѣ естествоиспытатель, наблюдая природу.

Художникъ такого пошиба, несмотря на всю отзывчивость, какая ему свойственна, и на всю глубину его захвата, не можеть, забывь объ остальномъ, сосредоточиться исключительно на созерцаніи одной какой-либо стороны жизни; въ особенности чужды ему тв настроенія, которыя заставляли бы его реагировать на тьму и пошлость жизни такъ, чтобы стать нечувствительнымъ или не слишкомъ воспріимчивымъ къ другимъ впечатлівніямъ. Мало того: не только въ самой дійствительности ("въ натуръ"), но даже въ геніальномъ изображеніи Грибо-1дова пошлость и тьма русской жизни не могли привести Пушкина въ то мрачное настроеніе, о какомъ говорить Гоголь. Къ этой сторонъ жизни и человъка Пушкинъ, геній жизнерадостный и уравнов вшенный, не быль бол в зпенно-воспріимчивъ. Онъ понималь ее умомъ и отзывался на нее легкимъ юморомъ или мимолетною грустью (какъ, напр., въ "Евгеніи Онъгинь"). И только когда великій магь и волшебникъ экспериментальнаго творчества показаль ему въ сгущенномъ виде тьму и пошлость русской жизни, онъ впервые содрогнулся передъ этимъ зловѣщимъ призракомъ и реагировалъ на него уже не юморомъ и грустью, а глубокою скорбью.

Художникъ-экспериментаторъ, которому удалось произвести такой эффектъ, по самой натурѣ своей представлялъ прямую противоположность Пушкину.

Сосредоточенный и замкнутый въ себѣ, не экспансивный, склонный къ самоанализу и самобичеванію, предрасположенный къ меланхоліи и мизантропіи, натура неуравновѣшенная, Гоголь смотрѣлъ на Божій міръ сквозь призму своихъ настроеній, большею частью очень сложныхъ и психологически-темныхъ, и видѣлъ ярко и въ увеличенномъ масштабѣ преимущественно все темное, мелкое, пошлое, узкое въ человѣкѣ. Коечто изъ этого порядка отрицательныхъ явленій онъ усматриваль

и въ себъ самомъ, и тымъ живъе и бользиениъе отзывался онъ на эти внечатлънія, идущія отъ другихъ, отъ окружающей среды. Онъ изучаль ихъ одновременно и въ себъ и въ другихъ. Находя въ себъ иъкоторые недостатки или "мерзости", какъ онъ выражается, онъ ихъ принисывалъ своимъ героямъ, а съ другой стороны, чужія "мерзости", изображенныя въ герояхъ, онъ сперва, такъ сказать, примърялъ къ себъ, навязывалъ себъ, чтобы лучше вглядъться въ нихъ и глубже постичь ихъ исихологическую природу. Это были своеобразные пріемы экспериментальнаго метода въ искусствъ. Присмотримся къ къ нимъ ближе и прежде всего послушаемъ, что говоритъ о нихъ самъ Гоголь.

"Во мит не было какого-нибудь одного слишкомъ сильнаго порока... но зато, вмъсто того, во мив заключалось собраніе всёхъ возможныхъ гадостей, каждой понемногу, и при томъ въ такомъ множествъ, въ какомъ я еще не встръчалъ досель ни въ одномъ человькъ. Богъ далъ мив многосторонною природу. Онъ поселилъ мив также въ душу, уже отъ рожденія моего, нісколько хороших в свойствь; но лучшее изъ нихъ. за которое не умью какъ возблагодарить Его, было желаніе быть лучшимъ..." 1). Далье говорится о томъ. что Богь устроиль такъ, что дурныя качества Гоголя открывались ему постепенно. И воть, "но мъръ того, какъ они стали открываться, чуднымъ высшимъ внушеніемъ усиливалось во мить желаніе избавляться отъ нихъ; пеобыкновеннымъ душевнымъ событіемь я быль наведень на то, чтобы передавать ихь моимъ героямъ... Съ этихъ поръ я сталъ надълять свояхь героевъ, сверхъ ихъ собственныхъ гадостей, моею собственною дрянью. Вотъ какъ это дълалось: взявши дурное свойство мое. я преследоваль его въ другомъ званіи и на другомъ поприще. старался себф изобразить его въ видь смертельнаго врага. нанесшаго мив самое чувствительное оскорбление, пресивловаль его злобою, насмінікою и всімь, чімь нонало" (тамь же crp. 87-88).

Ниже читаемъ: "Не думай однако же, послъ этой исповъди, чтобы и самъ быль такой же уродъ, каковы мон герои. Нътъ, и не похожъ на нихъ. Я люблю добро, и ищу его и сгораю имъ; но и не люблю монхъ мерзостей и не держу ихъ

<sup>1)</sup> Разрядка Гоголя.

руку, какъ мои герои... Я уже отъ многихъ своихъ гадостей избавился тъмъ, что передалъ ихъ своимъ героямъ, ихъ осмъялъ въ нихъ и заставилъ другихъ также надъ ними посмъяться..." (тамъ же стр. 91).

Это любонытное и важное свидетельство, какъ и многія другія въ письмахъ Гоголя, вызываеть некоторыя недоуменія, которыя нужно устранить, прежде чёмъ пользоватся имъ для психологін великаго писателя. Письмо откуда взяты приведенныя мёста, относится къ 1843 году, когда извёстная "переміна" или "душевное разстройство" Гоголя довольно далеко подвинулось впередъ. Характеръ этого разстройство, если не ошибаюсь, далеко еще не выяснень. Но въ немъ нельзя не замътить, между прочимъ, того, что можно назвать "нравственной ипохондріей": Гоголь явно преувеличиваль недостатки своего характера и, кромъ того, усматриваль въ ребъ тлкіе, которыхъ совствит не было. Но, помимо разныхъ недостатковъ, дъйствительныхъ и мнимыхъ, едва ли не въ болльшей степени угнетало его присутствіе, обыкновенно не замізчаемое нами, того душевнаго сора и хлама, который годами накопляется во всякой душь человьческой. Вспомнимь знаменитое мысто вы VII-ой главъ "Мертвыхъ душъ", гдъ говорится о писателъ, "дерзнувшемъ вызвать наружу все, что ежеминутно передъ очами и чего не зрять равнодушныя очи, -- всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневных в характеровъ... "Нёть человыка, который не быль бы опутань "тиною мелочей повседневной жизни", нътъ такого характера и ума, который не быль бы или, по крайней мёрё, не казался, раздробленнымь" пустяками жизни, хламомъ будней, накопляющимся годами, опошливающимъ и изнашивающимъ душу человъческую. Это опошливание или изнашиваніе души, это раздробленіе характера, замізчаемое въ себъ самомъ, причиняло Гоголю нестерпимую душевную боль. Въ его разгоряченномъ воображения все это принимало фантастические размёры. Это и была та "мерзость" и "дрянь" душевная, на борьбу съ которою онъ выступалъ какъ художникъ и какъ моралистъ. Исторію и психологію этой борьбы мы разсмотримъ въ особой главь. Пока для насъ достаточно сдёланныхъ здёсь указаній, поясняющихъ вышеприведенную выдержку изъ "Писемъ по поводу "Мертвыхъ душъ". Процессъ

художественнаго творчества, охарактеризованный въ эгой выдержив, представляеть намь картину, можно сказать, діаметрально противоположную той, какую мы находимъ у Пушкина;
выдьленіе, въ худежественномъ оныть, извъстимкь— отринательныхъ—сторонъ жизки и души человьческой изученіе ихъ
въ себъ путемъ самоанализа преувеличеніе ихъ значенія, бользненное реагированіе на нихъ, переходь отъ самознализа къ
самобичеванію, жажда освободиться отъ нихъ, выглядъ на художественное творчество какъ на путь къ этому освобожденію...

Но пойдемъ дальше. Художественные опыты чь ука линомъ направления Гоголь производилъ не только надъ собою, но и надъ дочгими. Это видно уже изъ того мъста, гдъ онъ говорить, что онъ наделяль своихы героевь своею душевном "дранью" — "сверхъ ихъ собственныхъ гадостей". Это поясняется вижесльдувщимъ: ....лля первой части поэмы требовались именно люди инчтожные. Эти инчтожные ляди однако же ничуть не портреты съ инчтожныхъ людей: напротисъ. въ нихъ собраны черты техъ, которые считають себя лучшими другихъ, разумъется, только въ разжалованномъ видъ исъ генераловъ въ солдаты. Тутъ, кромъ монхъ собственныхъ, есть даже черты многихъ моихъ пріятелен, есть и твоя 1). Мизнеобходимо было отобрать отъ всехъ прекрасныхъ людей, которыхъ я зналъ, все пошлое и гадкое. что они захватили нечаяние, и возвратить ихъ законнымъ владельцамъ... " (курсивъ мой) (тамъ же, стр. 89).

Эта сторона въ творчествъ Гоголя, сторона объективлая, заслуживаетъ винмательнаго разсмотрънія. Что она имъла исихологическій смысль опыта, а не чястаго наблюденія иредставляется несомивнимить. Гоголь и здысь не просто наблюдаль и созерцаль, а мучительно реагировалт. Убользненно отзывался, преувеличиваль, перерабатываль изучаемыя стороны души человьческой.

Вопросъ этотъ тельйшимъ ображомъ связывается съ дру-

<sup>1)</sup> Адресать письма воизволень. — П. С. Тахонравов предполагаеть, впрочемь, что вей 1 отрывка мога и не быть насымеми, раныне написациями из извытанию плимы, а дотностой из эпосу тыхи немносих в статой, которых были прибавлены из "Переплека старузьями" (Соч. Гог., т. IV, стр. 521).

гимъ-о личныхъ отношеніяхъ Гоголя из знакомымъ и близкимъ, о странностяхъ и перовностяхъ въ его обхожденіи съ людьми, о разныхъ педоразумфніяхъ, возникавшихъ на этой почвь, наконець, о столь извыстномь отсутствии правдивости и простоты въ его поступкахъ, въ разговорѣ, въ письмахъ. Мы здёсь не разсматриваемъ Гоголя, какъ человёка, и потому не можемъ вдаваться въ подробности вопроса о его характеръ; но такъ какъ, по нашему мненію, некоторыя черты характера Гоголя связаны съ его художественнымъ методомъ, раскрытію котораго посвящена эта глава, то необходимо отмътить здъсь эти черты. Сюда прежде всего относится извъстная склонность Гоголя скрытничать, симулировать, мистифицировать. Наномнимъ показаніе весьма авторитетнаго свидітеля, гласящее, что "Гоголь былъ не лгунъ, а выдумщикъ, и всегда готовъ быль сочинить цёлую сказку, чтобъ отдёлаться какъ-нибудь отъ скучныхъ или непріятныхъ вопросовъ". (См. примѣчанія Тихонравова во И-мъ томъ сочин. Гоголя, изд. 1889 г., стр. 649). Этотъ отзывъ принадлежитъ С. Т. Аксакову, который такъ хорошо зналъ Гоголя, какъ человѣка, и раньше и лучше многихъ понядъ и сценилъ его, какъ художника. Въ высокой степени ценны для насъ также следующія слова С. Т. Аксакова (въ его извъстной "Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ", напечатанной въ "Русск. Архивъ" 1890 года): "...объясняя себъ поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми сыздътства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людямъ, но и выдумывать всякій вздоръ для скрытія пстины, я старался успокоить другихъ моими объясненіями. Я прилисываль скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употребляль иногда Гоголь, когда его уличали въ неискренности, единственно странности его характера и его разсвянпости... Впрочемъ, я долженъ сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками... Мий приходилось объяснять самому себй поступки Гоголя точно такъ, какъ я объясняль ихъ другимъ, т. е., что мы не можемъ судить Гоголя по себъ, даже не можемъ понимать его впечатленій, потому что, вероятно, весь организмъ его устроенъ какъ, нибудь ипаче, чемъ у насъ; что нервы его, можеть быть, во сто разъ тоньше нашихъ; слышать то, чего мы не слышимь, и содрагаются отъ причинь

намъ неизвъстныхъ" ("Исторія моего знакомства съ Гоголемъ", стр. 54).

И действительно, нервная и душевная организація этого необыкновеннаго человька представляла собою крайне чувствительный аннарать, двятельность котораго приводила въ тому, что Гоголь въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ ноневоль оказывался челов'якомъ двойственнымъ и вель, такъ сказать, двойную бухгалтерію: коротное знакомство, добрыя отношенія. уваженіе, дружба и т. д., связывавшія его со многими, осложиялись, отравлялись и портились преувеличенною, болъзненною чувствительностью Гоголя нь "оборотной сторонъ" хорошаго человька, ко всему мелкому, узкому и пошлому. что, въ той или иной мерь, свойственно всякой душе человеческой. Гоголь могь любить, уважать и цінить того или другого изъ близкихъ къ нему людей, хорошо зная его добрыя качества. умь, честность и проч.; но вывств съ твиъ онъ упорно и пристально, точно пригвожденный, всматривался въ оборотичю сторону хорошаго человіка, и воть рядомь сь этимь человікомь вырасталь другой, его двойшикъ, составленный изъ его пошлыхъ черть, изъ хлама и сора его души. Этоть фантомъ становился между хорошимъ человъкомъ и Гоголемъ и путалъ ихъ отношенія, нарушаль ихъ простоту и искрепность, но зато опъ же очень номогаль художнику, служа ему "моделью" и "натурою"...

Оборотную сторону души человъческой, пошлаго человъка въ хорошемъ. Гоголь видъдъ сквозь самый телстый слой разныхъ добродътелей, сквозь непроницаемую броню всевозможныхъ высокихъ качествъ, какъ показныхъ, такъ и дъйствительныхъ. И потому-то такъ часто люди бывали ему противны, какъ и самъ онъ бывалъ противенъ себъ. Съ годами, съ развитіемъ его душевнаго разстройства, эта сторона въ немъ разрасталась въ презръніе къ людямъ, въ мизантропію, — настроенія, крайне тягостныя для натуры геніально художественной, глубоко гуманной и съ серьезными задатками моральныхъ стремленій.

Выдѣленіе "оборотной стороны" хорошаго человька и созданіе "двойниковъ", о которыхъ мы только что говорили, было художественнымъ экспериментомъ, на добрую долю непроизвольнымъ и безсознательнымъ: Гоголь не могъ не дѣлать этого и самъ не замѣчаль, какъ это дѣлалось. Но разъ двойникъ былъ готовъ, Гоголь перѣдко производилъ надъ нимъ уже сознательные и преднамѣренные опыты.

Экспериментирование надъ человъкомъ было у Гоголя коренною, органическою чертой ума и натуры. Нарочито сказать то или другое или поступить такъ или иначе — съ цълью посмотрыть, какъ это отразится, что отвытить или слылаеть экспериментируемый субъектъ, -- это было, можно сказать, любимымъ занятіемъ Гоголя, -- и самъ онъ порою склоненъ былъ смотрёть, какъ на «опытъ», даже на тъ поступки свои, которые, по первоначальному замыслу, могли и не быть таковыми. Такъ, напримітрь, въ томъ же письмі по новоду «Мертвыхъ душъ», откуда мы взяли вышеприведенныя выдержки, онъ между прочимъ говоритъ, что ему «хотълось попробовать, что скажеть вообще русскій человѣкъ, если его попотчуешь его же собственною пошлостью» (Соч. Гог. 1889, IV, стр. 89). Въ письмахъ Гоголя встръчаются указанія на то, что онъ неръдко говорилъ другимъ разныя непріятности и даже устраиваль ссору, съ цёлью заставить ихъ высказаться. Такъ, напр., въ письмі къ Балабиной (отъ 7 ноября 1838 г.) онъ говоритъ: «Когда я былъ въ школі и былъ юношей, я быль очень самолюбивъ...; мнъ хотълось смертельно знать, что обо мнъ говорять и думають другіе. Мнь казалось, что все то, что мнь говорили, было не то, что обо мнф думали. Я нарочно старался завести ссору съ моимъ товарищемъ, и тотъ натурально въ сердцахъ высказывалъ мнт все то, что во мнт было дурного. Мит этого было только и нужно». Къ такому маневру прибѣгалъ Гоголь и впослѣдствій. Въ письмъ къ Шевыреву отъ 14 декабря 1844 г. онъ признается, что «иногда нарочно сердиль» Погодина «только затьмъ, чтобы узнать, что онъ обо мнь думаеть». Въ томъ и другомъ мъстъ по этому поводу высказывается мысль, что люди говорять правду только тогда, когда они раздражены, разсержены («только разсердившись, говорится правда»—въ письмъ 7 ноября 1838 г.). — Къ этой мысли возвращается Гоголь, говоря о различныхъ недоумъніяхъ, вызванныхъ его книгою «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Такъ, въ письмъ къ Шевыреву отъ 10 марта 1847 г. читаемъ: «...эта ръзкость, дикость и заносчивость многаго въ моей книгъ расшевелять и задънеть за живое многихъ умныхъ людей. Что же дёлать, если такова натура русскаго человёка, что его не заставишь до тёхъ поръ говорить, покуда не выведешь его изъ терпвнія, зацвия за самую живую струну. Поввры, что безъ этой книги мив бы не узнать всего того, что мив

необходимо знать для того, чтобы мон «Мертвыя души» вышли то, чёмъ имъ следуеть быть». Такимъ образомъ, изданіе «Выбранныхъ мість» представляется самимъ Гоголемъ, какъ своего рода эксперименть художника, произведенный нада русскимъ обществомъ. Первоначальное побуждение могло быть и, въроятно, было иное: Гоголь просто хот иль поччать, морализировать. Но, разъ дёло было сублано, и книга произвела столь извъстное - отрицательное - внечатлъніе на общество. Гоголь самъ сталъ смотръть на это предпріятіе, какъ на родъ оныта. и прислушивался къ отзывамъ и книгв и различнымъ толкамъ о ея авторъ-какъ экспериментаторъ, который хочетъ такимъ путемъ узнать людей да истати провършть и себя самого. Вы письмахъ 1847 года мы встречаемъ настойчивыя просьбы сообщать ему все, что говорять и пишуть о книгь и о немь. Вы томъ же письмъ къ Шевыреву читаемъ: «Передавай самыл жесткія, самыя язвительныя слова. Говорю тебі истинно, что оть всего этого такая польза уму, сердцу и душв моей, какъ ты и представить себь не сумьень... Проси и другихъ записывать вы простоть и безхитростно всь слова, какія ни услышать, именно, какъ ихъ услышать»... Насколько раньше, Гоголь, по тому же новоду, писаль С. Т. Аксакову: «На книгу мою нападуть со всёхъ угловь, со всёхъ сторонъ и во всёхъ возможных отношеніяхь. Эги нападенія мив теперь слишкомь нужны; они покажуть мив болье меня самого и покажуть мять вы то же время васъ, то-есть монхы читателей. Не увидения ясибе, что такое въ настоящую минуту и самъ и что такое мои читатели, я быль бы въ рышительной невозможности сделать дельно свое дело» (письмо отъ 20 янв. н. ст. 1847 года). — «Одно помышление о томъ, съ накимъ неприличиемъ и самоувъренностью сказано въ ней (въ книгъ «Выбранныя мьста») многое (читаемъ въ письмы къ ки. Львову. оть 20 марта 1847 г.), заставляеть меня горыть со стыда... Стыдь этоть мив пужень. Не появись моя книга, мив бы не было и въ половину извъстно мое состояние душевно ... Въ письмь къ Плетневу (отъ 17 апрыла 1847 г.) находимь слыдующее, характерное для Гоголя, заявленіе: «Поверь, что безъ отой книги не было бы на чемъ испробовать ны и и и и лето человька 1). А проба эта пужна, и въ этомь отношения

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

книга моя, несмотря на всв ея недостатки, -- сокровище. Ты самъ это иснытаешь, если будешь на ней пробовать 1) человъка. Онъ отъ тебя не скроется въ своихъ сокровенныхъ и главиъйшихъ помышленіяхъ, и состояніе души его выступитъ передъ тобою какъ разъ»... То же самое говорить онъ и въ письм в къ Смирновой (20 апр. 1847): «Зам втили ли вы необыкновенное свойство моей книги... служить пробнымъ камнемъ для узнанія нынѣшняго человѣка? 1) Въ сужденіяхъ своихъ о ней обнаружится предъ вами весь человъкъ, даже позабывши свою осторожность. Это весьма не бездёлица для писателя, а особливо такого, для котораго предметомъ сталъ не шутя человѣкъ п ду ша человѣка» 1). Приведемъ еще такое мѣсто изъ письма къ Шевыреву (27 апр. 1847 г.): «Книга имбетъ свойство пробнаго камня: повърь, что на ней испробуещь какъ разъ нынъшняго человька. Въ сужденіяхъ о ней непремьню выскажется человъкъ, со всъми своими помышленіями, даже тъми, которыя онь осторожно танть отъ всёхъ, и вдругь станеть видно, на какой степени своего душевнаго состоянія стоить онь. Воть почему мыт такъ хочется собрать вст толки встхъ о моей книгт».

Нельзя сомнъваться въ пскренности этихъ заявленій: слишкомъ часто повторяются они, и по всему видно, что эта мысль глубоко засёла въ умё Гоголя.

Характерны и следующія строки того же письма: «Хорошо бы прилагать при всякомъ мивніи портреть 2) того лица, которому матніе принадлежить, если лицо мат незнакомо. Повърь, что мнъ нужно основательно и радикально пощупать общество».

Эти выдержки рисують намь Гоголя, какъ экспер и ментатора души человъческой. Онъ ее изслъдоваль (всегда ли съ успъхомъ, - это другой вопросъ) этими экспериментальными пріемами съдвоякою цілью: моральною и художественною. И любопытно, что чемь больше овладевали имъ стремленія моральныя, тімь живіте сказывались и настойчивіте заявляли о себъ и его чисто-художественные интересы. Этика и искусство шли у него объ руку, не мешая другъ другу. Подтвержденія этому мы дадимъ въ дальнійшемъ. Здісь же укажу только на тѣ мѣста его писемъ, гдѣ онъ проситъ сообщать ему

<sup>1)</sup> Разрядка моя.
2) Т. е. характеристику.

всякія подробности, разныя мелочи жизни и обстановки, характеристики («портреты») лиць и отмичать черты типическій. Такъ, напримъръ, въ пясьмъ къ Смирновой (отъ 27 янв. 1846 г. онъ говорить: «Въ душь и сердць человыческомы столько есть неуловимыхъ отгынковь и излучинь, что всякій день могуть случиться открытія и откровенія... Опреділите миз характеры всьхъ находящихся въ Калугь; не пропускайте мелочей и подробностей. Вы знаете, что я до нихъ охогиикъ и что по нимъ мив удавалось узнать многое, многое въ человъкъ, вовсе не мелочное, котораго иногда онъ не только не открываеть другимь, но и самь не знаеть». - Вь другомь письив онь просить Смирнову набрасывать для него очерки провинціальныхъ тиновъ. «Напримъръ, выставьте сегодия заглавіе: геродская львица, и, взявши одич изъ нихъ, такую, которая можеть быть представительницею всьхъ провинціальных львиш. онишите мыв ее со всыми ухватками-и какъ садится, и какъ говорить, и въ какихъ платьяхъ ходить, и какого рода львамъ кружить голову, -- словомъ, личный поргреть во всехъ подробностяхъ. Потомъ завтра выставьте заплавіе: Непонятал женщина, и опишите мив такимъ же образомъ неповятую женщину. Потомъ: городская добродътельная женщина; потомъ: честный взяточникъ; потомъ губернскій левъ». (нис. 22 февр. 1847).—Съ такою же просьбою обращается онъ къ Л. С. Данилевскому и его жень (письмо 18 марта 1847 г.). жившимь въ Кіевь. «Эта бъглые наброски съ натуры, — говорить онь, — мив теперь такь нужны, какъ живописцу, который пишеть большую картиву, нужны этюды. Онъ хоть, повидимому, п не вносить этихъ этюдовъ въ свою картину, но безпрестанно соображается съ ними, чтобы не напутать, не наврать и не отдалиться оть природы».

Во всемъ этомъ ярко сказывается уже не моралистъ, а художникъ. Всѣ эти характеристики провинціальныхъ типовъ, эти наброски съ натуры, а также и разныя подробности и мелочи житейскаго обихода нужны были Гоголю именно какъ х удожник у-ре алисту. Но не слъдуетъ заключать отсюда, чтобы онъ въ этомъ случав преслъдоваль задачу пирокаго и разносторонняго бытописанія. Ивтъ, онъ не задавался цъльчо описывать жизнь людей и изображать общество того времени такъ, чтобы вышла правдивая, исчернывающая картина дъйствительности. Онъ хотъль только, чтобы тъ образы, которые

онъ создаетъ, были взяты изъ жизни, пріурочены къ мѣсту и времени и производили иллюзію живыхъ людей, живьемъ выхваченныхъ изъ дѣйствительности. Объ этомъ свидѣтельствуютъ слѣдующія мѣста изъ писемъ: "Не будутъ живы мои образы, если я не сострою ихъ изъ нашего матеріала, изъ нашей земли, такъ что всякъ почувствуетъ, что это изъ его же тѣла взято" (Письмо къ Смирновой отъ 22 февр. 1847 г.). "Моя поэма, быть можетъ, очень нужная и очень полезная вещь, потому что никакая проповѣдь не въ силахъ такъ подѣйствовать, какъ рядъ живыхъ примѣровъ, взятыхъ изъ той же земли, изъ того же тѣла, изъ котораго и мы" (Письмо къ Данилевскому и его женѣ, отъ 18 марта 1847 г.).—Тутъ же находимъ характерныя слова: "...миѣ теперь очень нуженъ русскій человѣкъ, вездѣ, гдѣ бы опъ ни паходился, въ какомъ бы звапіи к сословіи онъ ни былъ".

Предметомъ, на которомъ сосредоточивались художественные и иные интересы Гоголя, былъ именно русскій человёкъ, психологія русскаго человёка, а не русская жизнь въ ея пёломъ, въ ея statu quo и ея движеніи. Гоголь быль по преимуществу художникъ-психологъ, какъ это вообще свойственно художникамъ-экспериментаторамъ. Какъ человёкъ и какъ моралисть, онъ былъ весь погруженъ въ тё вопросы, которые опъ обозначаетъ терминомъ "душевное дёло". Оно же составляло и объектъ его художественныхъ изысканій.

Здъсь-то и выступаль онъ какъ экспериментаторъ.

Прочтемъ слѣдующія строки изъ письма къ Плетневу отъ 5 янв. н. с. 1847 г.: "Драгоцѣнный даръ слышать душу 1) человѣка мнѣ уже быль издавна дарованъ Богомъ, и въ перазвитомъ своемъ состояніи онъ уже руководилъ меня въ разговорахъ съ людьми 1), и передо мною сами собой отдѣлялись звуки истинныхъ словь отъ звуковъ фальшивыхъ въ одномъ и томъ же человѣкѣ. Поэтому я весьма рано сталъ примѣчать, что есть дурного въ хорошемъ человѣкѣ и что есть хорошаго въ дурномъ человѣкѣ. Ко мнѣ становился человѣкъ вовсе не тою стороною, какою онъ самъ хотѣлъ стать предо мною; онъ становился противовольно той стороной своей, которую мнѣ любопытно было узнать въ немъ, такъ что онъ пногда, самъ не зная какъ, об-

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

наруживаль себя предо мною больше, чімь онъ самъ себя зналь".

Здісь-то и слідуеть искать главную причину тіхь недоразумбий, какія такь часто везникали между Готолемь и его друзьями. Аксаловы, Погодянъ, Шевыревъ, Плетневъ я другіе относились кь нему просто, душевно и бережно даже Погодинъ, несмотря на недостатокъ деликатности и подчасъ грубоватость, вирочемъ, благодушную), ціня въ немъ великаго нисателя, надежду и гордость Россіи. Съ своей стороны и онъ хотъль бы относиться къ нимь такъ же просто и душевно. и поров это и удавалось ему. Но опъ не въ силахъ быть выдержать эту рель до конца: онъ невольно становелся въ положение изследователя чужой души человеческой, какъ всегда быль последователемь своей, -- его друзья превоащались въ объекты этихъ изысканій. -- и простыя отношенія по необходимости осложивлись и портились. Исльзя бълнаказанно конаться подолгу и слишномъ усердно ни въ своей, на въ чужой душь: непремьино опротиващь самь себь и другіе тебь опротивать. И я думаю, что, помимо всего прочасо. душевное разстройство Гоголя отчасти связывалось и съ этимъ въчным в самовнализом в и экспериментированием в надъ другими. Характерная въ этомъ отношенія фраза вырвалась у него чь одномъ нясьмь къ Скарновой (оть 4 іюня 1845 г.): "Не страдая теперь ни одной душевной бользиью, происходящею отъмонхъ отношеній и положеній кълюдямъ... 1), я страдаю весь душою отъ страданій моего тьля, и душа изнываеть вся отъ страшной хандры..."-Болье всего, какъ говорится, "возилисъ" съ Гоголемъ и баловали его Аксаковы, вы отобенности Сергый Тимооеевичы: вы ихы домв Гоголь быль принять напъ родной, -- онь неизмени э встрачаль здась такую ласку, такое участіе, такое синскожденіе ко всемь его слабостямь и странирогляв, что, казалось бы, здесь-то Гоголь и должень быль бы отдыхать душою и находять убъжище оть обуревавшихъ его тревоть душевныхъ. Однако же оказывается, что для Гоголя радушие и ласка Аксановыхъ были тягостны и производили на него далеко не благотворное действіе. Онъ решительно не могь долго выносить той любви и гого обожація, намія онь встрачаль вь

<sup>1)</sup> Разрядка мол.

семь В Аксаковыхъ. И вотъ что писалъ онъ объ этомъ Смирновой (въ письмъ отъ 20 мая 1847 г.): "Хотя я очень уважалъ старика 1) и добрую жену его за ихъ доброту, любилъ ихъ сына 2) за его юношеское увлечение, рожденное отъ чистаго источника, несмотря на неумфренное, излишнее выраженіе его, но я всегда однако же держаль себя вдали оть нихъ. Бывая у нихъ, я почти никогда не говорилъ ничего о себъ; я старался даже вообще сколько можно меньше говорить и высказывать такія качества, которыми бы могь привязать ихъ къ себъ. Я видълъ съ самаго начала, что они способны залюбить не на животь, а на смерть... 3). Словомъ, я бежаль отъ ихъ любви"...

Здёсь необходимо маленькое отступленіе.

Выло бы большой ошибкой — основывать на дачныхъ этого рода (ихъ найдется не мало) сужденіе о Гоголь, какъ о человъкъ сухомъ, холодномъ, неблагодарномъ, недобромъ. Онъ былъ человъкъ несомнънно добрый, но недобродушный. Чувство благодарности было, конечно, вполнф доступно ему, и онъ не разъ испытывалъ его, но случалось, что онъ поступаль такъ, какъ можеть поступать только неблагодарный. Здёсь мы встрёчаемся съ неразрёшимымъ, повидимому, противорѣчіемъ въ характерѣ этого загадочнаго человѣка, какихъ не мало мы встретимъ въ дальнейшемъ. Въ данномъ случав относительная холодность и, пожалуй, родъ невольной неблагодарности Гоголя въ отношении къ Аксаковымъ отчасти объясняются тымь, что избытокъ восторговь и обожанія быль для Гоголя въ данное время (1842-1847) тягостнымъ и досаднымъ осложнениемъ и безъ того трудной внутренией работы, которая въ немъ совершалась. Посвятить Аксаковыхъ въ ходъ этой внутренней работы онъ не могъ, потому что зналъ, что они не поймуть ел такъ, какъ хотълось бы ему.

Попробуемъ представить себъ эту замкнутую натуру, переживающую тяжелый душевный кризись, этоть умь, цёликомъ углубленный въ ръшеніе мудреной задачи, слагавшейся изъ своеобразно и нераціонально поставленныхъ вопросовъ моральнаго и религіознаго самосознанія; вспомнимъ о болівзненномъ, можетъ быть, исихопатологическомъ уклад натуры

3) Разрядка мон.

<sup>&#</sup>x27;) Сергвя Тимоееевича. <sup>2</sup>) Константина Сергвевича.

великаго человька; наконець, не будемъ забывать, что въ самомъ разгарѣ этого броженія души, этого разброда и конфликта душевныхъ силь и стремлевій совершалась геніальная работа художинка,—и тогда мы поймемъ, какъ болѣзненно должна была содрогаться и сжиматься душа этого страдальца отъ шума вэсторговъ, казавшихся ему излишними, отъ похвалъ, ему ненужныхъ, отъ всякаго неосторожнаго прикосновенія, отъ всякой понытки заглянуть въ его внутренній міръ.

Вотъ что скрывается подъ вышеприведенными словами Гоголя: «... они (Аксаковы) способны залюбить не на животъ, а на смерть...»

И онъ «бъжаль отъ ихъ любви». «Бъгство» отъ любви такихъ на ръдкость хорошихъ, искреннихъ, умныхъ и даровитыхъ людей, какъ Аксаковы, — это фактъ, наглядно обрисовывающій всю глубину наболъвшей потребности Гоголл оставаться замкнутымъ въ себъ—такъ, чтобы ничто не нарушало тайнаго развитія его внутренней драмы, затаеннаго назръванія его душевныхъ мукъ...

Мы пивемъ здъсь возможность, употребляя его же выраженіе, «услышать его душу». Попробуемь не только «услышать», но и понять, объяснить ее. Для этого необходимо сперва разгадать умъ Гоголя, опредълить его характеръ и особенности. Мы назвали этотъ умъ огромпымъ, но темнымъ; это требуетъ обоснованія и поясненія, чъмъ мы и займемся въ слъдующей главъ, гдъ, слъдуя нашему плану, мы сопоставимъ умъ Гоголя съ умомъ Пушкина—огромнымъ и свътлымъ.

#### ГЛАВА II.

# Гоголь, какъ умъ.

I.

Въ числъ тъхъ протпворъчій, которыми изобиловала душевная организація Гоголя, было и слъдующее, принадлежащее къ сферъ его мышленія: съ одной стороны мы видимъ въ его жизни и дъятельности упорную, можно сказать, неустанную (за вычетомъ тъхъ перерывовъ, которые обусловливались обостреніемъ бользни) работу ума. съ другой же ясно улавливаемъ всъ признаки умственной лъни. Какъ человъкъ мыслящій, работающій головою, Гоголь былъ, если можно такъ выразиться, «трудолюбивый льнивецъ».

Несовивстимость или, лучше, непримиримость этихъ терминовъ-только логическая. Психологически же, т.-е. въ организаціи и дівятельности ума, эти противорічія весьма часто совмѣщаются и даже примиряются, такъ что нерѣдко бываетъ очень трудно разобрать, гдъ кончается трудолюбіе ума и гдъ начинается его лізнь. Можно даже утверждать, что это противориче вытекаеть изъ основныхъ свойствь ума человическаго, изъ тъхъ психологическихъ особенностей, которыми сфера мысли отличается отъ другихъ сферъ психики, - отъ чувства и воли. По самой природъ своей умъ, въ противоположность чувству, есть ввчный работникъ: нашъ умъ не перестаеть дыйствовать ни на секунду, -- онъ работаеть даже во сив и только смерть прекращаеть его неугомонную двятельность. Эта последняя совершается, какъ известно, двояко: сознательно и безсознательно. Ослабление или заторможеніе сознательной д'ятельности (напр., во сев, въ обморокъ не устраняетъ работы безсознательной. Умъ работаеть сь неустанностью заведенныхъ часовъ.

Но этоть въчный труженикъ силошь и рядомъ оказывается порядочнымъ лентяемъ. Умъ, по самой природе своей, не можеть не работать, но ему зачастую трудно и нежелательно мънять направление и ходъ своей работы, сворачивать съ одной дороги на другую, расширять свой кругозоръ, пріобрътать новые интересы, обращаться къ новему матеріалу, а все это бываеть безусловно-необходимо для усишности самой работы. Всякій изъ насъ по собственному окыту и по наблюденіямъ надъ другими хорошо знасть эту прирожденичю неповоротливость ума человическаго, въ диятельности котораго такъ ясно проявляются черты шаблоньости и склонность къ автоматизму. Вы привыкли, напр., отъ такогото часа до такого-то заниматься извъстнымъ дълемъ, требующимъ изкотораго напряженія мысли. Попробуйте вдругь нарушить этотъ порядокъ, - перенести данную работу на другіе часы или зам'янить ее другою.—и вы сейчасть же но-чувствуете умственныя неудобства этей перем'яны, — ваша работа не будеть идти такъ легко и скоро, какъ прежде, пока вашъ умъ не усвоитъ новой привычки. Нарушение установившагося порядка и характера работы ученаго, художинка, писателя причиняеть ему настоящія страданія.

Гораздо важнее другое следствие или выражение той же основной исихологической черты, той же шаблонности нашего мышления: я разумыю заесь все то, что можеть быть 
подведено подъ понятие консервативности ума человеческаго. Достаточно известно, какъ легко успованвается онь 
на привычныхъ формахъ мышления, на усвоенной системе 
воззръний, на традиціонныхъ понятихъ и какъ неохотно 
приступаеть онъ къ критическому пересмотру своего достояния. Даже убъдившись въ негодности или недостаточности 
техъ или другихъ усвоенныхъ формъ мысли, умъ человеческій не хочетъ разстаться съ ними и упорно держится 
ихъ—по привычкѣ, по традиціи, т. - е., собственно говоря, 
потому, что ему удобнье орудовать ими, чемъ другими, новыми, къ которымъ онъ еще не приспособился. А усвоить 
новыя и построить новую систему воззрѣній — это требуеть 
труда и новаго навыка. Н отъ этой работы умъ, если можно, 
уклоняется...

Вывають счастливо-организованные умы, одаренные исключительною гибкостью и редкою широтой умственных интере

совъ, открытые всёмъ впечатлёніямъ и возбужденіямъ мышленія, умы, которые радостно и бодро идуть впередъ вмёстё съ человечествомъ. Таковъ былъ, напр., Гёте... У насъ къ этому умственному типу, несомнённо, принадлежалъ Пушкинъ, лозунгомъ котораго было: «На поприщё ума нельзя намъ отступать!»

Къ совершенно противоположному типу принадлежалъ Гоголь.

Гоголь быль современникомъ великихъ событій въ умственной и общественно-полигической жизни Зап. Европы, которую онъ изъйздилъ вдоль и поперекъ и гдй онъ подолгу живалъ. Оставляя въ сторонъ движенія общественно-политическаго характера въ тъсномъ смыслъ, для пониманія которыхъ у него совствы не было «органа», мы укажемъ только на движенія и теченія эпохи 20-40-хъ годовъ въ сферѣ литературы, искусствъ, науки и философіи. Поэтическое наслъдіе Гёте и Шиллера въ Германіи, нъмецкій романтизмъ, потомъ «Юная Германія», поэзія Гейне, французская литература съ Гюго, Ламартиномъ, Жоржъ-Зандъ, Бальзакомъ и др., поэтическое наслъдіе Байрона и новая англійская литература; могучія и глубокія философскія теченія, идущія оть Гегеля, Фихте, Шеллинга; гуманитарныя и освободительныя идеи, восходящія къ Сийнозъ, Лессингу, Канту, Гердеру; дальнъйшее развитие и критический пересмотръ этихъ идей въ новой литературъ; необычайное оживление въ области научныхъ изысканій (естествознаніе, филологія, право, исторія), привлекавшихъ вниманіе мыслящихъ людей, и т. д., и т. д. вся эта работа умовъ, вся эта жизнь и роскошь духа, все это для Гоголя не существовало, ко всему этому онъ оставался глухъ и слѣпъ.

Вотъ что говорить объ этомъ П. В. Анненковъ въ своей извёстной статьё «Гоголь въ Римё»: «...онъ рёшительно пичего не читалъ изъ французской изящной литературы и принялся за Мольера только послё строгаго выговора, даннаго Пушкинымъ за небреженіе къ этому писателю. Такъ же мало зналъ онъ и Шекспира (Гете и вообще нёмецкая литература почти не существовали для него), и изъ всёхъ именъ иностранныхъ поэтовъ и романистовъ было знакомо ему не по наслышке и не по слухамъ одно имя — Вальтеръ-Скотта...» («Воспоминанія и критическіе очерки» 1877, І, стр. 187). И

далье: «...вядельянный уединеніемь Рима, онь весь предался творчеству и пересталь читать и заботиться о томь, что дылается въ остальной Европь. Онь самъ говориль, что въ извъстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человіка. Въ Римъ онъ только перечитываль любимыя міста изъ Данте. «Иліады» Гивдича и стихотвореній Пушкина» (тамъ же, стр. 200).

Обширная перениска Гоголя какъ нельзя лучше подтверждаеть эти ноказанія одного язъ достов'єрньйшихъ свидітелей и дорисовываеть нечальную картину умственной темпоты и льни Гоголя Въ этой огромной массъ писемъ съ трудомъ можно найти дев-три страницы, гдв сказался бы извъстный интересь къ тъмъ или инымъ явленіямъ умственной культуры Запада. Изъ сокровищницы богатой умственной культуры Запада Геголь выбраль себь только одно — искусство (скульнтуру. живопись и архитектуру): путешествуя и живя за границей, . онъ почти всегда обращаль внимание на старыя и новыя провиведенія этихъ испусствь и вникаль вь ихь хараптерь, смысль и значение. Особливо занитересовался онъ итальянскимъ искусствомъ, въ томъ числь (отчасти) и ангичнымъ. Но и эта область, столь близкая и столь сродни ему, не вызвала въ немъ скольконибудь значительной работы мысли, и, новидимому, какъ старая, такъ и новая литература по исторіи и теоріи испусства осталась ему неизвъстною.

Мы имвемь здысь передъ собою факть, есля не единственный въ своемъ родь, то, по прайней мъръ, исключительно-ръдкій. Чтобы геніальный полты и человака са такима большимь, глубокимъ и топкимъ умомъ какъ Гоголь, могъ духовно существовать и творить вий умственной жизки віка, вий духовнаго общенія, безь умственной пищи, какъ хабов насущный, необходимой всякому мыслящему уму, - это ньчто почти нев роятное, это-настоящая исихологическая загадка. Чыть выше умь, чымъ богаче одаренъ человъкъ дарами мясли и творчества, тъмъ нуживе ему умственная пища, какъ въ видь матеріала для работы мысли, такъ и въ видь идей, точекъ зрвијя, методовъ и т. д., выработанныхъ и установленныхъ другими дъягелями на различныхъ поприщахъ умственнаго труда. И чъмъ больше и оригинальные умъ, тымь больше береть онь оть другихъ умовъ. Гоголь почти ничего не взяль, да и не хотыль брать. Очевидно, ему не нужны были ть умственныя возбужденія,

которыя такъ необходимы людямъ мысли вообще, дъягелямъ творческой мысли въ особенности. Всякое творчество, какъ философское и научное, такъ и художественное, не можетъ обойтись безъ пріобщенія къ результатамъ чужого творчества, въ оссбенности творчества великихъ дъятелей мысли въ прошломъ и настоящемъ. Вспомнимъ, какъ много былъ обязанъ Гете чтенію античныхъ писателей, вліянію Лесспига, изученію Спинозы; какое значеніе имъли для Шиллера античные писатели, Руссо и т. д.; для Пушкина—новая французская литература, Байронъ и Шекспиръ и т. д. Оригинальное и творческое мышленіе зажигается отъ другого оригинальнаго и творческаго мышленія, и чъмъ больше такихъ возбудителей было въ распоряженіи мыслителя или художника, тъмъ шире развернется и глубже будеть захватывать его собственное творчество.

Гоголь является страннымъ исключеніемъ изъ этого правила...

Онъ создаль великія произведенія, изъ которыхъ одно, «Мертвыя души», безъ всякаго сомненія, останется навсегда однимъ изъ крупнъйшихъ вкладовъ въ сокровищницу міровой литературы. Въ этомъ геніальномъ созданіи заключено такъ много мысли, въ немъ такая глубина созерцанія, такая широта художественнаго кругозора, въ немъ проявился такой размяхь и подъемъ творчества, что читатель, не знающій ничего о Гоголъ, въ правъ сказать, заключая отъ произведенія къ автору: воть художникь, у котораго природная сила мысли была изощрена изученіемъ великихъ произведеній искусства; воть поэть, выработавшій себь, на изученіи мыслителей разныхъ въковъ, широту художественнаго воззрѣнія; онъ также, навърно, долго и, можетъ быть, въ подлинникъ изучаль Гомера, которому онъ не уступить въ пластикъ изображенія, и быль знатокомъ Шекспира, съ которымъ можетъ поспорить въ знаніи души человъческой, въ психологіи характеровъ и страстей... И прайне будеть озадачень этогь читатель, когда узнаеть, что Гоголь зналь Гомера только по Гивдичу (и нозже, уже послъ изданія первой части «Мертвыхъ душъ», по Жуковскому), Шекспира даже и не читаль какъ следуеть, равно какъ и Гете, а имена мыслителей зналъ, да и то не очень твердо, лишь но наслышкъ.

Воть и попробуемъ разобраться въ этомъ противоръчін.

II.

Прежде всего замітимъ, что у настоящихъ художниковъ исл отс — атналат ахи зананта: ихв таланть — это ондо изъ свойствъ или одна изъ сторонъ ихъ ума. Если талантъ огроменъ, то, стало быть, это огроменъ умъ, котораго принадлежностью является данный таланть. Таланты могуть быть, въ извъстной мъръ, отдъляемы отъ ума только тогда, когда онивившије, узко-спеціальные, технические, часто зависящие отъ особенностей физіологической организаціи (тонкость слуха при музыкальномъ таланть, сила зрвнія при живописномъ и т. д.). Но умы высшаго порядка, умы творческіе, разъ они одарены какимъ-либо талантомъ, не могуть, если позволено такъ выразиться, быть умиве или глупве своего таланта. Говоря такъ, мы имжемъ въ виду таланть, органически присущій уму, обусловленный самимы характеромъ, пошибомъ, интимнымъ устройствомъ этого ума. Такой умъ-талантъ не измѣнитъ себѣ, не будеть ниже себя не только въ своемъ творчествѣ, но и въ своихъ проявленіяхъ вив творчества. Вспомнимъ не-поэтическія произведенія и письма Гете, Шиллера, Гейне, Пушкина, Тургенева и др. Не даромъ эти вещи, часто совершенноинтимныя, не предназначавшіяся для обнародованія, получають общій интересь и входять въ національную, а иногда и общечеловъческую литературу.

Обращаясь къ Гоголю, возьмемь тв верхи творчества, которыхь онъ достигъ. Вспомнимъ типы «Мертвыхъ душъ», напримъръ, Манилова, Собакевича, Илюшкина. Какая широта художественнаго обобщенія! В'ядь это всемірные общечелов'яческіе тины. Ніть народа, гді бы ни нашлись свои Маниловы и Собакевичи. Но это не тв бледныя фигуры-схемы. которыя широки потому только, что малосодержательны, что онъ-общія мъста искусства. Ньтъ, это фигуры строго-конкретныя, съ илотью и кровью, пріуроченныя къ націи, класту, мъсту, времени, т. е. богатыя содержаниемъ, но въ те же время надъленныя огромною обобщающею силой. Справиивается: талантомъ или умомъ созданы онь?-- Пе талантомъ, какъ таковымъ, и не умомъ въ отдъльности, а геніальны мъ умомъ-талантомъ. — Здъсь песлушаемь, что говорить самъ Гоголь о своемъ творчества въ письма къ Шевыреву (отъ 28 февр. 1843 г. : ч...я могу тенерь работять уверению.

тверже, осмотрительные, благодаря тымь подвигамы, которые я предпринималы кы воспитанію моему... Напримыры, никто не зналы, для чего я производилы передылки моихы прежнихы пьесы, тогда какы я производилы ихы, основываясь на разумыній самого себя, на устройствы головы своей 1). Я видылы; что на этомы одномы я могы только навыкнуть производить плотное созданіе, сущное, твердое, освобожденное оты излишествы вполны, ясное и совершенное вы высокой трезвости духа»...

Это свидътельство, какъ и другія въ томъ же родѣ, показываетъ, что Гоголь вполнѣ отчетливо сознавалъ въ себѣ
х у д о ж н и к а-м ы с л и т е л я, который работаетъ умомъ, пуская въ ходъ всѣ его наличныя силы. Краснорѣчивымъ подтвержденіемъ этого являются сами творенія Гоголя. Онъ вовсе
не творилъ «однимъ талантомъ», «однимъ поэтическимъ даромъ», — «какъ птичка поетъ». Такое птичье творчество было
совершенно чуждо Гоголю, какъ чуждо оно всѣмъ истиннымъ
художникамъ, всѣмъ настоящимъ поэтамъ. Творчество Гоголя
было тяжелымъ подвигомъ мысли, трудной и кропотливой
работой ума. Эта работа простиралась и на цѣлое, и на
частности, не пренебрегая послѣдними мелочами.

Если «Мертвыя души» и были начаты безъ заранѣе выработаннаго плана, то во время работы общій планъ труда не замедлиль явиться въ головѣ Гоголя, и великій поэтъ, трудясь надъ знаменитой «поэмой», не переставаль разрабатывать и совершенствовать этотъ планъ. И, разумѣется, это было по-преимуществу дѣломъ сознательной и при томъ критической работы мысли. Прочтемъ здѣсь слѣдующія строки изъ письма къ Шевыреву (отъ 2 марта 1843 г.): «...Представь себѣ архитектора, строящаго зданіе, которое все загромождено и заставлено у него лѣсомъ; чего стоитъ ему снимать лѣса и показывать неоконченную работу, какъ будто бы кирпичъ вчернѣ и первое пришедшее въ голову слово въ силахъ разсказать о фасадѣ, который еще въ головѣ архитектора». Здѣсь Гоголь сравниваетъ съ работою архитектора свою работу надъ построеніемъ и развитіемъ плана «Мертвыхъ душъ»,

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

въ связи съ внутреннею моральною работой «самовоспитанія», къ которой онъ обратился въ данное время.

Помимо общаго илана, Гоголь затрачиваль огромную массу труда на усовершенствование художественнаго воспроизведения фигуръ, на развитие характеровъ, на разработку отдъльныхъ сцень, подробностей и, наконець, языка. Это краснорьчиво подтверждается рукописями Гоголя и сохранившимися первоначальными редакціями различныхъ произведеній. Медленнымъ, упорнымъ трудомъ критики собственныхъ созданій, вдумчивостью во всф детали, взвешиваниемъ отдельныхъ выражений, сокращеніями, изм'вненіями в т. д. Гоголь и достигаль того совершенства вы творчествъ, которое онъ въ вышеприведенномь мъсть изъ письма къ Шевыреву (28 февр. 1843 г.) называеть «высокою трезвостью духа». И такимъ путемъ онъ создаваль произведенія въ самомь дёлё «сущныя», «твердыя». свободныя «отъ излишествъ и неувтренности», «вполнъ ясныя и совершенныя»... Да, этоть человыть, этоть «взыскательный художникъ» имълъ полное право сказать (въ письмъ къ Прокоповичу отъ 28 мая 1843 г.): «Они (его сочиненія) писаны долго, въ обдумываніи многихъ изънихъ прошли годы 1), а потому не угодно ли читателямь моимъ тоже подумать о нихъ на досугь и всмотръться пристальнъй...»

Непосредственнымъ слъдствіемъ этого долгаго обдумыванія, т.-е. продолжительнаго умственнаго труда, преимущественно сознательнаго, является слъдующее любопытное обстоятельство. Когда читаешь первую часть «Мертвыхъ душъ», а также и по окончаніи чтенія, кажется, будто это—большой томъ, обширное произведеніе. На самомъ же дъль это весьма пебольшам книжка. Иллюзія происходить отъ того, что вь эту пебольшую книжку вложено огромное содержаніе. Тамъ мы имъемъ: рядъ большихъ художественныхъ типовъ, съ широкимъ захватомъ обебщенія и съ детально-разработанною индивидуальностью (Чичиковъ, Ноздревъ, Маниловъ, Собакевичъ, Плюшкинъ, Коробочка, Селифанъ, Петрушка), рядъ второстепенныхъ, эпизодическихъ лицъ, также весьма опредълительно очерченняхъ (прокуроръ и другіе чиновники, Мижуевъ, губернаторская дочка, дамы, мужики), наконецъ, почти сплошную (за изъятіемъ немногихъ страняць) образность изложенія:

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Разрядна мон.

образы идуть неспончаемою вереницей, служа то способомь изображенія, то художественною аллегоріей (какъ пов'єсть о капитант Копейкинт и притча о Кифт Мокіевичт).

Каждый изъ главныхъ образовъ-типовъ сблемлетъ обширный кругъ явленій, частью бытовыхъ-русскихъ, частью общечеловѣческихъ; слѣдовательно, сбъемъ ихъ весьма великъ; а такъ какъ этс—рѣко выраженныя и опредѣлительно-разработанныя индивидуальности, то весьма значительно и содержаніе, въ нихъ сгущенное. Отдѣльные образы въ описаніяхъ и сравненіяхъ въ большинствѣ случаевъ суть маленькія законченныя картинки, миніатюры, имѣющія свою цѣнность сами по себѣ и раскрывакщія намъ цѣлыя перспективы, далеко уходящія вглубь жизни или ссихики. Въ ряду этихъ образовъ важнѣйшее мѣсто принадлежитъ, конечно, тѣмъ, въ которые сблечены мысли Чичикова въ знаменитомъ мѣстѣ главы VII, гдѣ онъ воспроизводитъ прошлое купленныхъ имъ «душъ».

Наконецъ, вспомнимъ о гоголевскомъ «смѣхѣ», о художественной проніп Гоголя, которая удвояетъ содержательность всякой черты, въ которую она вплетена. Иронія сама по себъ есть уже мысль, она — освѣщеніе факта, шагъ къ его критикѣ, постановка вопроса о немъ. Поэтому къ запасу мысли, вложенному въ образъ, присоединяется еще другой запасъ, привносимый ироніей. И если бы возможно было развернуть и мысленно охватить то содержаніе, которое внесено въ «Мертвыя души» гоголевскимъ «смѣхомъ», то мы получили бы представленіе значительныхъ по количеству и весьма высокихъ по качеству цѣнностей мысли...

Нетрудно видёть, что создать и сгустить въ поэтическихъ образахъ все это содержане, художественно-выраженное въ небольшой книжьё, значило игонявести гигантскую работу, и при томъ такую, которая подъ силу только гоніальному художественному уму, — работу, въ которой творчество безсовнательное и дёятельность сознанія шли рядомъ, урагновёшевая и дополняя другъ друга, помогая другъ другу. Затрата умственныхъ силъ была огромная...

Вотъ и спросимъ: чёмъ же питался этотъ геніальный умъ? Какими стимулами двигалась эта мысль? Неужели эта великая работа такъ-таки и обходилась «собственении средствами», безъ всякизъ возбужденій со стороны, безъ тёхъ стимуловъ, которые исходять отъ другихъ умовъ?

### III.

Мы уже знаемь, что такихъ стимуловъ у Гоголя было мало—въ силу природной лвип его ума, несокрушимой консервативности и недостаточной отзывчивости его мысли. По они все-таки были, и безь нихъ Гоголь обойтись не могь. Укажемъ хоть бы на Жуковскаго съ его широкой гуманностью и его симпатичнымъ поэтическимъ даромъ, на С. Т. Аксакова, этого уминцу съ несомивниямы художественнымы дарованіемы. на Шевырева съ его эрудицією, на Языкова съ его лирическимъ талантомъ, наконецъ, на Смирнову съ ея незауряднымъ женскимъ умомь и образованіемь и т. д. Что эти лица были для Гоголя источниками умственныхъ возбужденій, въ этомь едва ли можно сомивваться. Гоголь, несомивние, черпать отъ няхъ не мало и мыслей, и сведеній, и вообще получаль то оживление и освъжение умственной двятельности, которое всегда является следствіемь общенія умовъ. При ограпаченности образованія, при ничтожной начитанности Гоголя такой по своему времени широко-образованный человыкь и несомавниый ученый, какъ Шевыревъ. быль для него настоящей находкой и невольно, самъ того не ведая, служиль двигателемъ его мысли. Не слъдуеть думать, будто великіе умы-таланты пигаются и движутся только теми возбужденіями, которыя исходять оть другихь великихь умовь-талантовь, оть геніевь. На ряду съ таковами они всегда получають значительныя возбужденія и отъ второстепенныхъ умовъ, оть среднихъ дарованій, наконець, отъ вліянія женскихъ натурь. Яркія подтвержденія этого даеть, между прочимь, біографія Гёге, котораго умь развился и возбуждался къ творческой дёнтельности не только силой вліячій, шедшихъ отъ Синнозы, Лессинга, Гердера, Шекспира, классиковъ и т. д., но и силою возбужденій мен'я сильныхь, но зато болье постоянныхъ и интимпыхъ, вытекавшихъ общенія и дружескихъ связей съ «обыкновеннымя смертными» (вспомнимъ Мерка) и-болъе или менье необыкновенными женшинами.

Что казается Гоголя, то важность для него общенія съ образованнымъ и умнымь человькомь наглядно подтверждается энизодомь его знакомства и его переписки съ Анненковымъ. Нькоторыя черты изъ этого эпизода послужать хорошею иллюстраціей нашей мысли.

Гоголь неуклонно шелъ своимъ путемъ и дёлалъ свое дёло по-своему, но при этомъ онъ не упускалъ случая прислушиваться къ тому, что говорять, какъ думають и понимають веши умные люди, преимущественно тв, которые стояли на точкв зрвнія, ему чуждой. Къчислу таковых принадлежаль П. В. Анненковъ, который умълъ особливо-возбуждающимъ образомъ дъйствовать на мысль Гоголя, открывая ему новые горизонты, ставя новые вопросы, заставляя его задумываться надъмногимъ, надъ чёмъ Гоголь не привыкъ задумываться. Въ 1847 году (отъ 7-го сент.) Гоголь писаль Анненкову: «Ваше желаніе следить все, не останавливаясь особенно ни падъ чёмъ, очень понятно. Въ немъ слышится разумное стремление всего нывъшняго въка. Но не понятенъ для меня духъ нѣкотораго удовлетворенія 1) вашимъ нынъшнимъ состояніемъ, точно какъ бы вы уже нашли важную часть того, что ищете, и какъ бы стали уже на верховную точку вашего разумънія и вашего воззрѣнія на вещи. Вы уже подымаете заздравный кубокъ и говорите: «Да здравствуеть простота положеній и отношеній, основанныхъ на практической действительности, здравомъ смысле, положительномъ законъ, принципъ равенства и справедливости!» Смыслъ всего этого необъятно обширенъ. Цълая бездна между этими словами и примененіями ихъ къ делу. Если вы станете дъйствовать и проповъдывать, и то прежде всего замътять въ вашихъ рукахъ эти заздравные кубки, до которыхъ такой охотникъ русскій человѣкъ, и перепьются всѣ, прежде чѣмъ узнаютъ, изъ-за чего было пьянство. Нътъ, мнъ кажется, никому изъ насъ не следуеть въ нынешнее время торжествовать и праздновать настоящій мигь своего взгляда 1) и разумінія 1). Онь завтра же можеть быть другимь; завтра же можемъ мы стать умнъй насъ сегодняшнихъ...» 1).

Нельзя не видѣть, какъ расшевелилась и стала рабстать въ извѣстномъ направленіи мысль Гоголя, возбужденная Анненковымъ. Оттуда уже не далеко и до нѣкотораго расширенія тѣхъ горизонтовъ, которые у Гоголя были узки. Дальше читаемъ: «Несмотря на то, что взглядъ мой на современность только-что проснулся ²), и я єще новичекъ въ этомъ дѣлѣ, но, сколько могу судить по тѣмъ результатамъ, которы е

<sup>4)</sup> Разрядка Гоголя. 2) Разрядка. — Лучше поздно, чёмъ никогда. Но и то сказать: шель 1847 годъ, и Гоголю было 38 лётъ.

отбираю теперь отъ всёхъ людей, прилежно наблюдающихъ за дъйствующими нынь силами въ Европъ 1), я однако же замьтиль ивкоторую неполноту въ вашихъ наблюденія тъ...» Далее Гоголь указываеть Анненкову на Англію, которую последній «оставиль совершенно въ сторонъ» и гдъ Гоголь усматриваетъ «важную сторону современнаго дъла». Онъ совътуетъ Анненкову пожить въ Англіи, а «затъмъ избрать предметомъ наблюденій не одинъ какой-инбудь классъ пролетаріевъ, изученіе котораго стало теперь моднымъ, но взглянуть на всъ классы, не выключая никакого изъ нихъ». Тутъ же Гоголь указываетъ на то, что въ Англін «мьстами является разумное слитіе того, что доставила человѣку высшая гражданственность, съ тъмъ, что составляеть первообразную патріархальность...» Все это свидітельствуеть о томъ, что Гоголь какъ бы протеръ глаза, что, живя въ Европъ, онъ наконецъ увидълъ Европу, и его мысль пробудилась для изученія современности, откуда-возможность если не усвоенія новыхъ идей и идеаловъ, то, по крайней мърф, ознакомленія съ ними. Безъ всякаго сомнінія, личное знакомство съ Анненковымъ, бесъды съ нимъ и переписка въ значительной мфрф послужили толчкомъ къ этому пробужденію.

На этомъ эпизолѣ мы, между прочимъ, наблюдаемъ слѣдующее: лѣнь ума, присущая Гоголю, была не столько та, которая выражается въ косности, въ тупой приверженности къ старымъ воззрѣніямъ, сколько та, въ силу которой человѣкъ не находитъ въ себѣ достаточно иниціативы, чтобы приняться за усьоеніе новаго. Это была не лѣнь мыслить, а лѣнь учиться.

Всякій человікь является въ жизни своей одновременно и «мыслителемь» (у всякаго своя философія), и «ученикомь» жизни, цивилизаціи, повыхъ идей, повыхъ стремленій и настроеній, новыхъ завоеваній науки, философіи, искусства. Отношеніе въ каждомъ изъ насъ «мыслителя» къ «ученику» бываетъ весьма различно: одинъ является одинаково хорошимъ «мыслителемъ» и «ученикомъ», другой— «хорошимъ мыслителемъ» и плохимъ «ученикомъ», третій — наобороть и т. д. Есть люди, которые всёмъ интересуются, за всёмъ слідятъ, все читають, и въ результать въ головь у нихъ получается нікоторая каша, которую они называютъ «міросозерцаніемь»:

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

это—хорошіе, т. е. прилежные, «ученики» и совсёмъ ужъ плохіе мыслители. Гоголь, наобороть, былъ отличный «мыслитель» и совсёмъ плохой, лёнивый «ученикъ». Онъ такъ и не научился ни пониманію современности, ея движенія, ея задачъ, ни новой философіи, ни тому, что давала мыслящему человёку художественная и прозаическая литература 30—40-хъ гг. А вёдь было чему научиться тамъ...

Лёнивый ученикъ, Гоголь, подобно анекдотическому семи-

Лѣнивый ученикъ, Гоголь, подобно анекдотическому семинаристу, убоялся «бездны премудрости». Тому роду лѣни ума, который былъ присущъ Гоголю, свойственны своеобразные—умственные—страхи передъ новымъ знаніемъ, новымъ синтезомъ знанія, новымъ направленіемъ умовъ. Гегельянство, этотъ истинный властитель думъ той эпохи, великая освободительная философія, благую мощь которой испытали на себъ Бѣлинскіе, Герцены, Прудоны, да и почти вся мыслящая Европа, казалось Гоголю «бездной премудрости», къ которой онъ чувствовалъ родъ инстинктивнаго страха и отвращенія. Это несомнѣнно—о бломовщина ума, какъ органа познанія и движенія мысли.

Лѣнивый, плохой «ученикъ», Гоголь былъ, однако, посвоему отличный «мыслитель», ибо обладалъ геніальнымъ умомъ-талантомъ. Лѣнь ума и умственные «страхи» не позволили ему выйти изъ темноты, но они не могли упразднить самобытной работы его мысли. И онъ неустанно работаль мыслью, но только эта работа совершалась во тьмѣ.

Излишне приводить доказательства умственной темноты Гоголя, — многія страницы «Выбранныхъ мѣстъ» и писемъ слишкомъ краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о ней (одно изъ самыхъ краснорѣчивыхъ—вѣра въ чорта). Гораздо важнѣе показать, что этотъ темный умъ былъ великій умъ и что, пребывая во тьмѣ, Гоголь иногда видѣлъ и понималъ то, чего часто не видятъ и не понимаютъ люди, вышедшіе изъ тьмы, умы просвѣщенные...

Прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ того же письма къ Анненкову: «Мнѣ кажется еще, что вы напрасно чуждаетесь спеціальнаго труда. Какой-нибудь спеціальный трудъ долженъ быть непремѣнно у каждаго изъ насъ. Сверхъ пребыванія на боевой вершинѣ современнаго движенія, пужно имѣть свой собственный уголокъ, въ который можно было бы на время уходить отъ всего. Нельзя, чтобы каждый изъ насъ не получилъ на

домо свою какой-нибудь способности, ему принадлежащей; нельзя, чтобы не было ея и у васъ. Иначе мы бы всь походили другь на друга, какъ двъ капли воды, и весь міръ быль бы одна мануфактурная машина. Безъ спеціальнаго труда пе образуется характеръ индивидуала, изъ которыхъ слагается общество, идущее в нередъ 1). Безъ этихъ своеобразно работающихъ единицъ не быть 1) общему прогрессу».

Эта глубоко-върная мысль отнюдь не общее мъсто, и она

Эта глубоко-върная мысль отпюдь не общее мъсто, и она не была случайнымъ замъчаніемъ, пришедшимъ въ голову ад hос, по новоду того обстоятельства, что Анненковъ, стоя «на боевой вершинъ современнаго движенія», не избралъ себъ опредъленной спеціальности. Мы имъемъ здъсь возможность заглянуть въ интимную работу мысли Гоголя, какъ своеобраз-

наго «мыслителя» и художника.

Живя въ Европъ, Гоголь давно уже отмъчалъ многовъковую культурность европейца, воспитанную въ спеціальномъ трудъ, и противопоставляль ее нашей русской некультурности, плохому развитію у насъ спеціальнаго труда на разныхъ поприщахъ, отсутствію у насъ того, что можно назвать «культомъ труда». Вспомнимъ знаменитое мѣсто въ VII главѣ I части «Мертвыхъ душъ»: «Максимъ Телятниковъ, сапожникъ. Хе, сапожникъ! Иьянъ, какъ сапожникъ, говоритъ пословица. Знаю, знаю тебя, голубчикъ: если хочешь, всю исторію твою разскажу. Учился ты у нъмца, который кормиль васъ всъхъ вмъсть, биль ремнемь по спинь за неаккуратность и не выпускаль на улицу повъсничать, и быль ты чудо, а не саножникъ: и не нахвалился тобою немець, говоря съ женой или съ камрадомъ. А какъ кончилось твое ученіе: «А воть теперь я заведусь своимь домкомь», сказаль ты: «да не такь какь нъмецъ, что изъ конейки тянется, а вдругъ разбогатью». И вотъ, давши барину порядочный оброкъ, завель ты лавчонку, набравъ заказовъ кучу, и пошелъ работать. Досталъ где-то въ три-дешева гиилушки-кожи и выиграль, точно, вдвое, на всякомъ сапоть, да черезъ недели двъ перелопались твои сапоти. и выбранили тебя подлейшимъ образомъ. И вотъ лавчонка твоя запустеля, и ты пошель попивать да валяться по улицамъ, приговаривая: «Нъть, плохо на свъть! Ивть житья русскому человъку: все нъмцы мъшають»!

<sup>1)</sup> Разрядка Гоголя.

Вотъ картинка, въ которой, какъ и во многихъ другихъ «миніатюрахъ» «Мертвыхъ душъ», поставленъ решающій діагнозъ нашей «бѣдности да бѣдности». Діагнозъ гласитъ: 1) отсутствіе настоящаго труда, въ европейскомъ смыслів этого слова; 2) отсутствие добросовъстности въ трудъ и вообще слабое развитие совъсти, которая вырабатывается, виъсть съ сознаніемъ обязательствъ и отвітственности, только въ культурной работ' покол' ній; 3) стремленіе къ легкой нажив , окрыляемое природною талантливостью русскаго человъка. Но кто же это такъ мътко и върно охарактеризовалъ сапожника Максима Телятникова и набросаль эту художественную картинку его трудовой и этической несостоятельности? Это сделаль П. И. Чичиковь, самь человъкь легкой наживы, самь человъкь безъ труда и трудовей этики, талантливый и неунывающій россіянинъ, типичный представитель націи, не воспитавшейся въ условіяхъ интенсивной культуры, а потому и не обладающей твиь «характеромъ», о которомъ сказано (въ письмъ къ Анненкову), что онъ не «образуется безъ спеціальнаго труда».

Вспомнимъ и другой образъ, въ которомъ дано выраженіе другой сторонѣ все той же русской невыдержанности и невоспитанности въ трудѣ: прототипъ Ильи Ильича Обломова, «Андрей Ивановичъ Тентетниковъ принадлежалъ къ семейству тѣхъ людей, которые на Руси не переводятся, которымъ прежде имена были: увальни, лежебоки, байбаки, и которыхъ теперь, право, не знаю, какъ назвать» (вторая часть «Мертв. д.», гл. I). Со времени знаменитаго романа Гончарова и классической статьи Добролюбова объ «Обломовщинѣ», мы называемъ ихъ «Обломовыми» и видимъ въ нихъ представителей нашего національнаго типа въ одномъ изъ крайнихъ и болѣзненныхъ выраженій его ¹).

«Мертвыя души»—это великая національная эпопея, гдѣ «выпукло и ярко» выставлено «на всенародныя очи» наше «ничего-недѣланіе» и этой сторонѣ ея подведенъ итогъ въ словахъ Платонова (IV г. ІІ-ой части): «Иной разъ, право, мнѣ кажется, что будто русскій человѣкъ—какой-то пропащій человѣкъ. Хочешь все сдѣлать—и ничего не можешь. Все думаешь—съ завтрашняго дня начнешь новую жизнь, съ завтраш-

<sup>1)</sup> Объ Обломовъ, кажъ національномъ типъ, я говорю подробно въ кн. "Исторія русской интеллигенціп", т. І, главы X и XI.

няго дня сядешь на діэту; ничуть не бывало: къ вечеру того же дня такъ объёшься, что телько хлонаень глазами, и языкъ не ворочается-какъ сова сидинь, глядя на всехъ-право! И этакъ всѣ».

Письмо, гдф указывается на Англію и гдф говорится, что «безъ своеобразно работающихъ единицъ не быть общему прогрессу», служить отличнымь комментаріемь къ идев «Мертвыхь душь» и вмёстё является сридітельствомь глубокой вдумчивости Гоголя, необыкновенной пропидательности его vma.

Но здёсь же обнаруживается и оборотная сторона этого ума. Въ приведенномъ письмъ (7-го сентября 1847 г.) читаемъ: «Всь мы ищемь того же: всякій пзъмыслящихънынь людей, если только онъ благороденъ душой и возвышенъ чувствами, уже ищеть законной желанной середины 1), уничтоженія лжи и преувеличенностей во всемь 1) и силтія грубой коры, грубыхъ толкованій, въ которыя способенъ человікь облекать самыя великія и съ темъ вместе простыя истины. Но все мы стремимся къ тому различными дорогами, смотря по разнообразію данныхъ намъ способностей и свойствъ, въ насъ работающихъ: одинъ стремится къ тому нутемъ религіи и самопознанія внутренняго 2), другой — путемъ изысканій историческихь и опыта (надъдругими) 2), третій путемь наукь естествознательныхь, четвертый путемь поэтическаго постигновенія и орлинаго соображенія вещей 2), не обхватываемых взглядомь простого человъка, - словомъ, разными путями, смотря по большему или меньшему въ себъ развитио преобладательно въ немъ заключенной способности». Какямъ же путемъ шелъ самъ Гоголь? Онъ, очевидно, шелъ одновременно и путемъ «религін и самопознанія виутренняго», и тімь, который онь называетъ «опытомъ надъ другими», и наконецъ путемъ витувцін художника («поэтическое постигновеніе»). — художника геніальнаго, который въ своихъ созданіяхъ, дійствительно проявляетъ «орлиное соображение вещей». Изъ перечисленныхъ путей чужды были Гоголю два: путь «историческихъ изысканій» и «наукъ естествознательных». Витеть съ тьмъ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Разрядка Гоголя. <sup>2</sup>) Разрядка моя.

чуждъ былъ ему и еще одинъ — самый главный — путь, въ приведенной выдержкъ совсъмъ не упомянутый. О существованіи его Гоголь, повидимому, и не догадывался. Нетрудно видъть, что всъ указанные имъ пути суть только особыя дороги и тропинки, частью идущія параллельно главному, столбовому пути, частью уклоняющіяся въ сторону отъ него. Та или другая изъ нихъ дъйствительно избирается отдъльными лицами сообразно ихъ дарованіямъ и вообще особенностямъ ихъ духовной организаціи. Главный же, столбовой путь къ свъту, къ идеалу, къ выработкъ раціональнаго, прогрессивнаго п жизнеспособнаго воззрвнія, путь, который Гоголь просмотръль, это-пріобщеніе мыслящаго ума къ сокровищамъ всемірной умственной культуры и его воспитаніе въ духѣ пріемовъ, нормъ, понятій и идеаловъ общечеловъческой научно-философской мысли, идущей впередъ. Этотъ путь долженъ быть обязателенъ для всякаго мыслящаго человъка, все равно, будетъ ли онъ историкомъ или естествоиспытателемъ, адептомъ религіи или художникомъ. И никакое «внутреннее самопознаніе», а равно и «поэтическое постигновение», вмъстъ съ «орлинымъ соображеніемъ вещей», не помогуть дёлу, не выведуть человека къ свъту сознанія и исторически-правильнаго (для данной эпохи) воззрвнія на жизнь, на ея развитіе и задачи, если этоть человъкъ стоить въ сторонъ отъ всемірнаго движенія умовь, отъ многовьковой культуры мысли. А чтобы не остаться въ сторонъ, чтобы пріобщиться къ этому движенію и культурф, нужно прежле всего учиться, нужно быть хорошимъ ученикомъ въ міровой школт общечеловтческого знанія и идеала, и отъ этой ученической обязанности ничуть не избавляется тотъ, кто самъ—великій умъ и геній. Напротивъ, такой умъ и геній долженъ быть тёмъ паче «хорошимъ ученикомъ».

Гоголь быль совсёмь плохимъ «ученикомъ».

Напротивъ, отличнымъ «ученикомъ» былъ Пушкинъ, замѣнившій Гоголю то, что мы назвали «міровою школою общечеловѣческаго знанія и идеала».

Въ началѣ карьеры Гоголя ослѣпительно-яркій лучъ свѣта проникъ въ его темный умъ и озарилъ дальнѣйшій путь его творчества. Этотъ лучъ былъ Пушкинъ, и глубокій смыслъ и великую правду таптъ въ себѣ восклиданіе Гоголя (въ письмѣ къ Жуковскому оть 30 октября 1837 г.): «О, Пушкинъ, Пушкинъ!

Какой прекрасный сонъ удалось мий видыть въ жизни, и какъ печально было мое пробужденіе!»

Перечисляя выше тыхь, кто такъ или иначе служиль для Гоголя источникомъ умственныхъ возбужденій и могь содійствовать расширенію его кругозора, я нарочито пропустиль имя Пушкина: его вліяніе на Гоголя составляеть особый вопросъ. къ разсмотрънію котораго мы и обратимся теперь.

### IV.

Какъ много помогъ Пушкинъ Гоголю понять себя самого, свое настоящее призвание, какъ онъ будилъ его мысль и возбуждалъ ея творческую работу, — все это достаточно извъстно. Передача сюжета «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ» — только эпизодъ изъ кратковременной, къ сожалѣнію, исторіи общенія этихъ двухъ умовъ, суть котораго-въ благотворномъ, просвътительномъ вліяній ума свётлаго на умъ темный. Гоголь отлично сознаваль, чемь онь обязань Иушкину, и это сознание выразилось въ письмахъ, написанныхъ Гоголемъ по получении извъстия о смерти великаго поэта. 16 марта 1537 г. онъ писаль Плетневу (пзъ Рима): «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вытесть съ нимъ. Инчего не предпринималось безъ его совъта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображаль его передъ собою. Что скажеть онь, что замътить онъ, чему посмфется, чему изречеть неразрушимое и въчное одобрение свое-воть что меня только занимало и воолушевляло мои силы. Тайный трепеть невкушаемаго на земль удовольствія обинмаль мою душу... 1). Боже! нывішній трудь мой 2), вичшенный ямь, его созданіе... я не въ силахъ продолжать его»...

Погодину онъ писаль (отъ 30 марта 1837 г.); «Я получилъ твое письмо въ Римъ. Оно наполнено тъмъ же, чъмъ наполнены тенерь всь наши мысли. Пичего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всехь больше. Ты скорбишь какь русскій. какъ писатель, я... я и сотой доли не могу выразить моей скорби. Моя жизнь, мое высшее наслаждение укерлось нимъ \*). Мов свытлыя минуты моей живии были минуты, въ

<sup>1)</sup> Гавридна мон., 2) "Мортв. дунга. 2) Рагридна мон.

которыя я твориль. Когда я твориль, я видъль предъ собою только Пушкина. Ничто мнъ были всътолки... мнъ дорого было его въчное и непреложное слово. Ничего не предпринималь, ничего не писаль я безь его совъта. Все, что есть во мнь хорошаго, всъмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой 1) есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писаль, и ни одна строка его 2) не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тешилъ себя мыслью, какъ будетъ доволенъ онъ, угадываль, что будеть нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нёть впереди! Что трудь мой? Что теперь жизнь моя?...»

Нѣкоторыя преувеличенія въ этихъ письмахъ (напр., «ни одна строка...», «ничего не писалъ безъ его совъта...» и пр.) принадлежать къ числу техъ оборотовъ речи, какіе вообще были свойственны стилю Гоголя (гипербола), и отнюдь не должны быть поставляемы въ данномъ случав въ упрекъ Гоголю. Они, не заключая въ себъ полной фактической правды, отлично и върно выражають общую душевную правду того, что почувствоваль Гоголь, когда узналь о смерти Пушкина. Въ самомъ дълъ, Пушкинъ, эта, по выраженію Тютчева, «Россіи первая любовь», быль и для Гоголя въ своемъ родъ "первою и единственною любовью". Если Гоголь кого-либо любиль глубокой, радостной, трогательной любовью, если онъ кого-либо "обожаль", то это только Пушкина, и слова: "Моя жизнь, мое высшее наслаждение умерло съ нимъ" — вылились прямо изъ сердца и говорятъ несомнѣнную правду. Нетрудно представить себѣ, какую пустоту ощутиль Гоголь, вмѣстѣ со всей образованной Россіей, когда вдругъ не стало Пушкина. И снустя два года съ лишнимъ, въ сентябрѣ 1839 г., находясь уже въ Москвѣ, Гоголь восклицалъ (въ письмѣ къ Плетневу, отъ 27 сентября 1839 г.): "Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ—и Пушкина нѣтъ!.."— Эта роковая, эта незамѣнимая утрата была для Гоголя несомнино чувствительние, чимь для другихь: онъ духовно осироталь, онь потеряль единственнаго человака, авторитету

т) "Мертв. Души". т) Г. е.—труда ("Мертв. д.").

котораго онъ добровольно и радостно подчинялся. Это подчиненіе составляло насущную потребность душевной жизни и самаго творчества Гоголя. Едва ли ошибемся мы, если скажемъ, что къ числу большихъ несчастій Гоголя принадлежало и то, что онъ слишкомъ рано и слишкомъ живо почувствовалъ въ себъ необыкновеннаго человъка, что онъ безповоротно убъдился въ превосходствъ своего ума, въ своей несомнънной геніальности. На этомъ, главнымъ образомъ, и основывались непріятный, самонадівнный, наставническій тонь Гоголя и его претензіи поучать ближнихъ, управлять пхъ умами и сердцами, навязывать имь свой духовный авторитеть. Для такой натуры, для такого характера, какъ Гоголь, въ высокой степени было важно сознаніе, что есть другой великій челов'єкъ, другой геній, у котораго можно многому поучиться, котораго вліяніе благотворно. И Пушкинь, дъйствительно, быль для Гоголя такою сдерживающею силой, своего рода школой.

Пушкинъ слѣдилъ за развитіемъ Гоголя, побуждалъ его читать, учиться, помогалъ совѣтами, поощрялъ. Смирнова разсказываетъ въ своемъ дневникѣ: "Сверчекъ (т. е. Пушкинъ) пришелъ поговорить со мной о Гоголѣ. Онъ провелъ у него нѣсколько часовъ; просматривалъ его тетради, его замѣтки, все, что онъ записывалъ по дорогѣ¹). Онъ пораженъ тѣмъ, какъ много наблюдевій Гоголь сдѣлалъ уже на пути отъ Полтавы до Петербурга... Пушкинъ кончилъ тѣмъ, что сказалъ: «Онъ будетъ русскимъ Стерномъ, у пего оригинальный талантъ; онъ все видитъ, онъ умѣетъ смѣяться, а вмѣстѣ съ тѣмъ опъ грустенъ и заставитъ плакать. Онъ схватываетъ оттѣики и смѣшныя стороны; у него есть юморъ, и раньше, чѣмъ черезъ 10 лѣтъ, онъ будетъ первокласснымъ талантомъ. У него есть и драматическое чутье». («Записки А. О. Смирновой», ч. І, стр. 43).

Вь другомъ мѣстѣ "Заинсокъ" (ч. І, стр. 138) Гоголь, на вопросъ Жуковскаго: "Прочелъ ты то, что онъ (Пушкинъ) тебѣ совѣтовалъ?" — отвѣчаетъ: "Я прочелъ «Essais» Монтоня. «Мысли» Паскаля, "Персидскія інисьма" Монтескье, «Les caractères» Ла-Брюйера, «Мысли» Вовенарга. Онъ указалъ мнѣ и трагедіи Расина и Корпеля, которыя я долженъ прочесть.

<sup>1)</sup> Дъло идеть о поблакт Гоголя въ Малороссью и обратно въ Метербургъ въ 1832 г.

Еще я прочель басни Лафонтена. О Вольтерт и энциклопедистахъ онъ сказалъ мнъ, что я могу не читать ихъ, но совътоваль прочесть сказки Вольтера, такъ какъ находитъ, что это лучшее изъ написаннаго имъ. Далъ онъ мнъ прочесть Донъ-Кихота по-французски и всего Мольера"...

Сохранившіяся письма Гоголя къ Пушкину и нёсколько записокъ послъдняго, дають наглядное представление объ участін Пушкина въ работв Гоголя, а равно и о томъ, какъ последній дорожиль этимь участіемь. Некоторыя выдержки будутъ здёсь не лишними.

Вотъ письмо Гоголя отъ 7-го окт. 1835 г.: «Рѣшаюсь писать къ вамъ самъ; просилъ прежде Наталью Николаевну, но до сихъ поръ не получилъ извъстія. Пришлите, прошу убъдительно, если вы взяли съ собою, мою комедію 1), которой въ вашемъ кабинет не находится и которую я принесь вамъ для замъчаній... Сдълайте милость, пришлите сксрте и сдтлайте наскоро хоть сколько-нибудь главныхъ замтчаній. Началь писать «Мертвыхь душь». Сюжеть растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смешонъ. Но теперь остановиль его на третьей главь. Ищу хорошаго ябедника, съ которымъ бы можно коротко сойтись. Мнв хочется въ этомъ роман' показать хоть съ одного боку всю Русь. Сдёлайте милость, дайте какой-нибудь сюжеть, хоть какой-нибудь, смёшной или несмёшной, но русскій чисто анекдоть. Рука дрожить написать тъмъ временемъ комедію. Если жъ сего не случится, то у меня пропадетъ даромъ время, и я не знаю, что дълать тогда съ моими обстоятельствами... Сделайте (же) милость, дайте сюжеть; духомь будеть комедія изь пяти актовъ, и клянусь — куда смѣшнѣе чорта! Ради Бога, умъ и желудокъ мой оба голодаютъ. И пришлите «Женитьбу». Обнимаю васъ и цѣлую и желаю обнять скорже лично».

Въ другомъ письмѣ (декабря 1834 г.) онъ жалуется Пушкину на придирки цензуры къ нексторымъ местамъ «Зачисокъ сумасшедшаго», а потомъ говоритъ: «Жаль, однако, что мив не удалось видвться съ вами. Я посылаю вамъ предисловіе 2), сділайте милость, просмотрите, п если, что, то

<sup>1) &</sup>quot;Женитьба". 2) Къ "Арабескамъ", гдѣ бызи помѣщены "Заи. сумасшедш.".

поправьте и перемѣните туть же чернилами»... Посылая Пушкину вышедшія изъ печати "Арабески", Гоголь пишеть, что нарочно посылаєть два экземиляра: "Одинъ экземиляръ для васъ, а другой, разрѣзанный для меня. Вы читайте мой и сдѣлайте милость, возьмите карандашъ въ ваши ручки и никакъ не останавливайте негодованія при видѣ ошибокъ, но тотъ же часъ ихъ всѣхъ налицо. Миѣ это очень нужно".

Записки Пушкина къ Гоголю прибавляють ивсколько черть, рисующихъ живое, сердечное отношение великаго поэта къ начинающему писателю. Въ одной (25 авг. 1831 г.) овъ заранве поздравляеть автора "Вечеровь на хуторв" съ будущимъ успъхомъ этой книги ("поздравляю васъ съ первымъ вашимъ торжествомъ-съ фырканьемъ наборщиковъ и изъясненіями фактора...") 1). Въ другой запискь дело идеть о "Невскомъ проспектв": "Прочелъ съ удовольствіемъ. Кажется, все можетъ быть пропущено. Съкуцію жаль выпустить: она, мив кажется, необходима для эффекта вечерней мазурки. Авось, Богъ вынесеть! Съ Богомъ!" Въ дневникъ Пушкина находимъ (7 апр. 1833 г.): "Вчера Гоголь читалъ мит сказку, какъ Иванъ Ивановичъ поссорился съ Иваномъ Никифоровичемъ. Очень оригинально и очень сметно. Гоголь, по моему совъту, началъ исторію русской критики". Въ октябръ 1835 года Пушкинъ пишетъ (изъ Михайловскаго) Плетневу по поводу изданія альманаха, для котораго Гоголь даль "Коляску": "Спасибо, великое спасибо Гоголю за его "Коляску", въ ней альманахъ далеко можетъ увхать; но мое мнвніе-даромъ "Коляски" не брать, а установить ей цвну. Гоголю нужны деньги". Въ письмъ къ жень (изъ Москвы 6 мая 1836 г.) Пушкинъ, между прочимъ, даетъ ей следующее порученіе: "Пошли ты за Гоголемъ и прочти ему следующее: видълъ я актера Щенкина, который ради Христа просить его прівхать въ Москву, прочесть "Ревизора". Безъ него актерамъ не спеться. Онъ говорить, комедія будеть каррикатурна и грязна (къ чему Москва всегда имъла поползновение). Съ моей стороны, я то же ему совътую: не надобно, чтобъ "Ревизоръ"

<sup>1)</sup> Отвътъ на письмо Гоголи отъ 21 авг., гдъ Гоголь, между прочимъ говорить: "Побонытнъе всего было мое свиданіе съ типографією: только что я просунулся въ двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себъ въ руку, отворачивансь къстънкъ"...

уналь въ Москвѣ, гдѣ Гоголя болѣе любятъ, нежели въ Петербургѣ".

Если бы Пушкинъ не умеръ такъ рано, то, безъ сомнънія, разсѣялась бы добрая доля той темноты, которою былъ

объять великій умь Гоголя.

Прежде всего Гоголь вынесь бы изъ «школы» Пушкина уважение къ великимъ и невеликимъ дѣятелямъ европейской мысли и сочувствие прогрессу общечеловъческаго просвъщения. Онъ научился бы у Пушкина понимать и цѣнить велики культурныя и интеллектуальныя блага, пріобрѣтенныя передовыми народами Европы цѣною многовѣкового труда и борьбы. И, быть можетъ, опъ сдѣлался бы, если и не отличнымъ, то хоть хорошимъ «ученикомъ» цивилизаціи...

V.

Въ противоположность Гоголю, Пушкинъ былъ отличный «ученикъ». Человъкъ съ широкимъ образованіемъ и большою начитанностью (въ особенности въ литературахъ французской и англійской 1), Пушкинъ не переставаль следить за движеніемъ умовь въ Европъ и въ своихъ сочиненіяхъ, журнальныхъ статьяхъ, замъткахъ, дневникъ и письмахъ обнаруживаеть рёдкую любознательность и отзывчивость живого и просвъщеннаго ума. Пушкинъ былъ не только первоклассный писатель, но и первоклассный читателькачество, для писателя весьма важное. Онъ любилъ книгу и оставиль послів себя хорошо подобранную библіотеку. Онь никогда не сказаль бы, какъ это сделаль Гоголь, что «въ извъстныя эпохи одна хорошая книга достаточна для наполненія всей жизни человька». Къ числу характерныхъ признаковъ такихъ свътлыхъ умовъ, жаждущихъ знанія, стремящихся «въ просвъщеніи стать съ въкомъ наравны», принадлежить и то, что они живо интересуются разнообразными, какъ первостепенными, такъ и второстепенными, и посредственными произведеніями ума человіческаго, и хорошо знають, что иная, даже плохая, книга можеть очень и очень приго-

<sup>4)</sup> Нѣмецкую онъ зналъ меньше. Но все-таки Лессингъ, Гете, Шиллеръ, Гейне и нѣмецкие романтики были достаточно извѣстны ему. Его знакомству съ нѣмецкою литературою, ея направлениями и тогдашними новинками много способствовалъ Жуковский.

диться для работающаго ума, если не какъ стимуль мысли, то, по крайней мъръ, какъ матеріалъ.

Но особливо ярко проявляется коренное различе между умомь Пушкина и умомь Гоголя на ихъ отношени къ одному весьма важному для русскаго писателя предмету изученія, который для Пушкина представляль высокій и живой интересъ, а Гоголю казался нестериимо скучнымъ и совстмъ не любопытнымъ. Это не что иное, какъ русская исторія. Пушкинь уже въ первой половинъ 20-хъ годовъ, работая надъ «Борисомъ Годуновымъ», изучалъ русскую исторію, и не только по Карамзину, но и по источникамъ. Затемъ, подготовительныя работы для исторіи Петра Великаго, «Исторія Пугачевскаго бунта», наброски критической статьи объ «Исторіи русскаго народа» Полевого, попытка объясневія «Слова о полку Игоревь, наконецъ необыкновенно умное письмо къ Чаадаеву (19 окт. 1836 г.) — все это служить достаточнымь доказательствомъ интереса, вниманія и любви Пушкина къ нашему меторическому прошлому. Иначе и не могло быть у писателя, который явился первымъ выразптелемъ нашего національнаго самосознанія. Добрая доля художественных в вообще умственныхъ интересовъ Пушкина была направлена на историческое прошлое русскаго народа и государства. Это и есть еданственный върный путь для писателя, который хочеть понимать настоящее и прозрывать въ будущее.

Гоголь не только не шель этимъ путемъ, но, повидимому, и не могъ бы, если бы даже и захотълъ, усвоить себъ ясное и широкое историческое воззръне на ходъ вещей въ Россіи.

Воть что профессорь всеобщей исторіи, который свзошель на каоедру неузнанный и неузнанный сошель съ нея» (инсьмо къ Погодину отъ 6 дек. 1835 г.), писаль въ 1834 г. Максимовичу: «...Брадке 1) пишеть мив, что не угодно ли мив взять каоедру русской исторіи, что сіе-де прилично занятіямь моимь, тогда какъ онь самъ объщаль мив, бывши здъсь, что всеобщая исторія не будеть занята до самаго моего прівзда, хотя бы это было черезь годь, а теперь върно

<sup>1)</sup> Кураторъ кіевскаго учебнаго округа. Діло идеть о назначеніи Гоголи профессоронь вы кіевскій университеть.

ее отдали этому Цыху 1), котораго принесло какъ нарочно. Право, странно: они воображають, что различія предметовь это такая маловажность и что кто читаетъ словесность, тому весьма легко преподавать математику или врачебную науку<sup>2</sup>). Я съ ума сойду, если мнв дадутъ русскую исторію... > (курсивъ мой). Въ другомъ письмѣ къ Максимовичу (10 іюня тоже 1834 года) Гоголь опять возвращается къ тому же вопросу: «Тебя удивляетъ, почему меня такъ останавливаеть русская исторія. Ты очень страненъ и говоришь еще о себъ, что ты ръшился же взять словесность. Вёдь для этого у тебя было желаніе, а у меня нёть. Чортъ возьми, если бы я не согласился взять скорве ботанику или патологію, нежели русскую исторію 3). Если бы это было въ Петербургь, я бы, можеть быть, взяль ее, потому что здёсь я готовъ, пожалуй, два раза въ недълю на два часа отдать себя скукъ»... Эти выдержки вполнъ выясняють извъстное выражение въ «Авторской исповеди»: «У меня не было влеченія къ прошедшему», гдъ имъется въ виду именно историческое прошлое Россіи.

Это равнодушіе или даже отвращеніе Гоголя къ русской исторіи есть факть въ своемъ роді знаменательный и, какъ почти все у Гоголя, не лишенный своей исихологической загалочности.

Если бы Гоголь быль писатель второстепенный или же только м'єстный, областной, т.-е. если бы онъ быль только авторомъ «Вечеровъ на хуторѣ» и «Тараса Бульбы», то указанное отношение его къ русской истории не представляло бы собою ничего особливо-страннаго. Но Гоголь, во-первыхъ, писатель-художникъ первой величины, великій геній искусства; во вторыхъ, онъ - писатель, по своему національному укладу, общерусскій (о чемъ будеть річь въ гл. У-ой); наконецъ, вътретьихъ, онъ, среди нашихъ поэтовъ, является по преимуществу певцомъ Россіи, какъ целаго, какъ государства, и поэтомъ общерусской стихіи. Вспомнимъ: «... какіе звуки больз-

профессоръ харьковскаго университета.
 Въ то доброе старое время такъ и было: тотъ же Максимовичъ, къ которому адресовано это письмо, по спеціальности естественникъ, профессоръ ботаники въ московскомъ университетъ, быль переведень въ кіевскій на канедру русской словесности. 3) Разрядка моя.

ненно лобзають и стремятся въ душу и выются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таптся между нами? Что глядишь ты такъ, и зачёмъ все, что ни есть въ тебф, обратило на меня полныя ожиданія очи?...» («Мертвыя Души», І, гл. XI). Да, между этимь загадочнымь великимъ человькомъ и Русью, именно Русью, какъ національно-объединеннымъ (общерусскимъ языкомъ и государственностью) примя ченостижими связь», и «полныя ожиданія очи» были въ самомь діль обращены на геніальнаго художника. Вспомнимь еще: «Не такъ ли и ты, Русь, что бойкая тройка, несешься?..» и т. д. «...Русь, куда же несешься ты? Дай отвъть. Не даеть отвъта. Чуднымъ ввономъ заливается колокольчикъ; гремитъ и становится вътромъ разорванный въ куски воздухъ; легитъ мимо все, что ни есть на земль, и косясь постораниваются и дають ей дорогу другіе народы и государства» (въ концѣ I части «Мертв. душъ). Это-поэтическое созерцаціе быстраго историческаго роста и движенія Руси—какъгосуда рства, какъ европейской державы и какъ національнаго (общерусскаго) цѣлаго. Спрашивается: какой другой изъ нашихъ великихъ поэтовь такъ воспѣваль эту Русь? У кого изь нихъ вырывались изъ души, при созерцании этой Руси, такіе захватывающіе, такіе проникновенные звуки?

Самое творчество Гоголя, за вычетомъ «Вечеровъ на хуторъ», «Тараса Бульбы» и отчасти «Старосвътскихъ помъщиковъ», «Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ» и нъкоторыхъ другихъ вещей, гдъ воспроизведены малорусская жизнь, правы и національный складъ малороссовь, главнымь образомъ, было направлено на воспроиззеденіе общерусской стихіп, и важнъйшіе монументальные типы, созданные творцомъ «Ревизора» и «Мергвыхъ душъ», являются и аціональными общерусскими типами.

Нелишне вспомнить здёсь и то, что Гоголь, не довольствуясь высокимъ призваніемъ великаго общерусскаго поэта, возомниль себя чёмъ-то въ родё пророка Руси, учителемъ жизни и морали... Какъ таковой (оставляя въ стороне вопрось о достоинстве и значеніи его проловеди), онь является прямымъ предшественникомъ нашихъ «морализующихъ» писателей, художниковъ-проповедниковъ, въ ряду которыхъ первыя мёста

принадлежать, конечно, Достоевскому и Л. Н. Толстому. И здѣсь, на этомъ поприщѣ, Гоголь явственно обнаруживается—какъ дѣятель общерусскій, какъ начинатель одного изъ направленій, принадлежащихъ спеціально къ общерусской умственной жизни. Ниже увидимъ, что и какъ человѣкъ, какъличность, Гоголь былъ гораздо больше общеруссъ, чѣмъмалороссъ 1).

И воть оказывается, что этоть общерусскій писатель и моралисть, одинь изъ основателей общерусской литературы и нашего общенаціональнаго самосознанія, совсёмъ не интересовался историческимъ прошлымъ того цёлаго, которому онъ принадлежалъ и служилъ, съ которымъ былъ связанъ тёсными узами духовнаго сродства.

Противоръчіе, здъсь заключающееся, станеть яснье, если примемъ во вниманіе слъдующее.

Начиная отъ античной древности и кончая новъйшимъ временемь, всв великіе общенаціональные поэты такъ или иначе интересовались историческимъ прошлымъ своей страны и обращались къ нему, если не для того, чтобы чернать оттуда матеріаль и сюжеты для своего творчества, то, по крайней мфрф, для расширенія своего кругозора, для саморазвитія въ духф національнаго самосознанія. Эсхилъ, Софоклъ и Эврипидъ у грековъ, Шекспиръ съ его трагедіями и драматичес-кими хрониками изъ англійской исторіи, Вальтеръ-Скоттъ съ его романами изъ той же области являются прямыми и наиболте яркими представителями національно-историческихъ интересовъ и задачь въ искусствъ. Но, можетъ быть, еще болъе сильнымъ подтвержденіемъ мысли, здъсь развиваемой, служитъ то, что такъ или иначе отдають дань исторіи своей страны также и тъ великіе поэты, которые по характеру своего генія, казалось бы, вовсе не призваны къ этому. Они не могутъ создать въ этой области великихъ, первостепенныхъ произведеній; они даютъ, что могутъ, какъ Гете далъ Германіи «Ганцафонъ-Берлихингена», Шиллеръ— «Валленштейна». Но во всякомъ случаѣ, вносятъ ли они въ лабораторію своего творчества сюжеты изъ исторического прошлаго своей страны или нътъ, они изучають это прошлое, иногда прямо выступая съ историческими трудами (Шиллеръ, Пушкинъ), всегда восни-

<sup>4)</sup> Cm. ra. V.

тывая, какъ бы выращивая въ себь, на почвъ этихъ изученій, тотъ національный геній, лучшими представителями котораго они являются.

Великіе поэты всегда связаны съ своимъ національнымъ цѣлымъ тою дѣйствительно загадочною связью, которую Гоголь назвалъ «непостижимою» и постиженіе которой составляеть одну изъ задачъ психологіи творчества.

Отъ этой чисто-научной задачи следуеть отличать ту, которую ставить себь самь субъекть, стремящійся къ самосознанію. Истипный поэть всегда чувствуеть свою какъ бы органическую связь съ національнымъ цілымъ, и, чімъ выше его дарованіе, чёмъ шире его поэтическій кругозоръ и глубже захвать его мысли, темъ живее и явственные чувствуеть опъ свое напіональное значеніе и призваніе. Но иное діло-чувствовать, а иное-сознавать и понимать. Чувство, о которомъ мы говоримъ, есть фактъ или процессъ, принадлежащій къ обширной сферт прраціональныхъ, «стихійныхъ» процессовъ психики человъческой. Его сознавание и понимание субъектомъ-это уже другой фактъ или процессъ, принадлежащій къ той особой сферь психики, гдь совершается дъятельность, превращающая процессы ирраціональные въ раціональные, въ осмысленные, въ продукты самосознанія и высшей мысли. Успешность этой деятельности зависить отъ культуры ума, отъ знаній, отъ упорядоченія этихъ знаній, отъ умственной дисциплины. Этимъ путемъ субъектъ (въ даниомъ случав поэтъ) и приходить къ самоопределенію, къ уясненію себе самому своего настоящаго призванія, къ яснымъ отвятамъ на вопросы: кто я? къ какому національному целому принадлежу я въ сферъ своего творчества? каково это цълое? откуда и куда пдетъ оно и какое мъсто должно принадлежать ему въ болве обширномъ целомъ-въ человачествъ?

Эти вопросы ставятся болке или менке правильно только при сильномъ свътк мысли, при хорошей культурк ума.

# VI.

Гоголь ставилъ эти вопросы и пытался рѣшить ихъ посвоему, природными силами своего великаго ума, исходя, съ одной стороны, изъ непосредственнаго чувства, а съ другой оппраясь на геніальную интуицію и на художественныя созерцанія необычайной глубины и силы. Какъ онъ дѣлалъ это и къ какимъ результатамъ приходилъ, мы постараемся разсмотрѣть и посильно освѣтить въ слѣдующей главѣ, гдѣ исходною точкою послужитъ намъ изученіе той, въ высокой степени любопытной, стороны творчества Гоголя, которую можно назвать стихійнымъ тяготѣніемъ всѣхъ художественныхъ стремленій и помысловъ Гоголя къ Россіи, какъ единственному объекту его творчества, и поэтическимъ созерцаніемъ Руси изъ прекраснаго далека.

Настоящую же главу закончимъ подведеніемъ итога всему сказанному объ умѣ Гоголя.

- 1) Гоголь быль геніальный самородокъ, великій умъ-таланть, одаренный необычайными силами художественно-образнаго мышленія. Насколько велики были эти силы, видно изътого, что онъ могь въ своемъ творчествів обходиться безътіхъ стимуловь, которые являются результатомъ общенія съдругими умами, т. е. безъ изученія великихъ поэтовъ и мыслителей. Разумівется, отсутствіе этихъ стимуловъ не моглобыть абсолютнымъ: это быль только минимумъ общенія. Но для Гоголя было достаточно этого минимума, чтобы возбудить его художественную мысль; достаточно намека, случайно занесенной искры, чтобы воспламенить его воображеніе и вызвать вдохновенную работу его ума.
- 2) Умъ Гоголя быль по преимуществу творческій, особливо приспособленный къ широкимъ художественнымъ обобщеніямъ, къ созданію большихъ, національныхъ и общечеловьческихъ, типовъ. Вмъстъ съ тъмъ мы видимъ въ немъ большую силу сознательно-критической мысли, подвергающей строгой критикъ результаты его же собственнаго творчества. Его художественная работа запечатльна глубокою вдумчивостью, движется осмотрительно, съ постоянною оглядкой на пройденный путь, съ явнымъ, сознательнымъ са мообладаніемъ художника. Гоголь, если можно такъ выразиться, старался обуздывать порывы своихъ вдохновеній, дисциплинировать свое творческое воображение, и такимъ путемъ онъ восполнялъ недостатокъ культуры своего ума, пробѣлы своего художническаго воспитанія. Онъ хорошо понималь, что ему слѣдуетъ воздерживаться отъ излишней роскоши въ творчествъ, отъ разгула воображенія, что большія умственныя силы нуждаются въ большой дисциплинъ. Иначе онъ явился бы въ искусствъ дикаремь, какимъ Шекспиръ казался Вольтеру. Поистинъ

изумительно это самообладаніе художника, эта разсудительность въ творчествъ поэта, который быль одаренъ такой подавляющей, бъющей черезъ край силою вдохновенія, — художника, въ головъ котораго столиилось столько яркихъ образовъ столько художественныхъ идей, столько глубокихъ созерцаній. Всю эту роскошь мысли нужно было упорядочить, чтобы претворить ее въ созданія «твердыя», «сущныя» и «совершенныя въ высокой трезвости духа». Гоголь достигалъ этого природною крити ческою силою своего ума.

3) Творческая и критическая работа этого художника была громадна. Иначе говоря громадна была затрата умственных силь. Но, късожальнію, крайне слаба была другая его работа—какъ «ученика», т. е. работа накопленія умственных силь. Его громадный умъ слишкомъ много тратилъ п слишкомъ скудно интался. Оттуда—недостатокъ свыта, отсутствіе широкихъ пдей, принадлежащихъ къ величайшимъ умственнымъ благамъ, которыя выработало человычество, тыхъ пдей, которыя, не принимая непосредственнаго участія въ самомь процессь художественнаго творчества, имыють, однако, огромное значеніе для искусства, ибо питають и просвыщають умъ художника. «Лынвый ученикъ», Гоголь довольствовался крохами этой пищи...

Онъ не зналъ, что значитъ настоящая умственная пища, какой приливъ душевныхъ силъ является слъдствіемъ общенія съ великими умами, какъ осижается вся душа и окрыляется мысль отъ расширенія умственныхъ горизонтовъ. Ему не дано было испытать животворящихъ радостей мысли, освободившейся отъ оковъ старыхъ формъ и идей и бодро стремящейся впередъ вмъсть съ человьчествомъ, —высокихъ радостей созерцанія безконечности въ стремленіяхъ ума и идеала.

Но истинному художнику не можеть быть чуждо и которое, хотя бы смутное и робкое, чаяніе этихъ радостей мысли. Оно не было вполнъ чуждо и Гоголю. Таясь въ глубинъ его художественныхъ созерцаній, оно могло освободиться и взыграть, если бы продлился тоть «чудный сонъ», который Гоголь «видълъ въ своей жизни»: просвыщающее и облагораживающее вліяніе Пушкина со всею широтою его воззрыній, со всею глубиною его общечеловьческихъ сочувствій, со всею лучезарностью и движеніемъ его мысли...

## ГЛАВА Ш.

Гоголь и Россія. -- "Русь изъ прекраснаго далёка".

## I.

Въ предыдущей главъ мы указали на русское національное призваніе Гоголя, которое такъ странно совмѣщалось у него съ равнодушіемъ или даже отвращеніемъ къ изученію историческаго прошлаго той «Руси», пѣвцомъ которой онъ былъ по преимуществу. Отмѣтить это противоръчіе намъ нужно было для характеристики ума Гоголя.

Въ настоящей главѣ мы хотѣли бы раскрыть психологію отношеній Гоголя къ Руси, какъ цѣлому. Насъ интересуеть здѣсь внутренняя, интимная сторона національно-русскаго призванія Гоголя и отраженіе различныхъ душевныхъ процессовъ, сюда относящихся, въ его мысли, въ его самосознаніи.

Этотъ вопросъ неразрывно связанъ съ исторіей главнаго труда Гоголя, — труда, которымъ онъ такъ блистательно оправдаль свое призваніе великаго надіональнаго поэта Руси. Вотъ и посмотримъ, какими настроеніями, чувствами и мыслями сопровождалась работа надъ «Мертвыми душами», заполнившая собою всю жизнь поэта съ половины 30-хъ годовъ и до самой смерти.

«Поэма» была начата въ 1835 году, задуманная на скжетъ, данный Пушкинымъ, въ видѣ большого сатирическаго произведенія, въ которомъ должна была отразиться, «хоть съ одного боку», вся Россія 1).

<sup>1) &</sup>quot;Началъ писать "Мертвыхъ душъ". Сюжетъ растянулся на предлинный романъ и, кажется, будетъ сильно смѣшонъ... Миѣ хочется въ этомъ романѣ показать хотя съ одного боку всю Русь". (Письмо къ Пушкину отъ 7-го октября 1835 г.).

По мірі того, какъ работа подвигалась впередъ п плань «Одиссеи» Чичикова выяснялся и развертывался въ головъ великаго «хохла», - этотъ «хохолъ» все живъе чувствовалъ и яснье сознаваль, что онь дылаеть великое дыло, которое будеть имъть огромное всероссійское національное значеніе. Въ этой мысли онъ укрвилялся съ каждымъ шагомъ впередъ и не стеснялся выражать ее въ письмахъ. Такъ, уже въ іюнѣ 1836 года, когда работа была только въ началъ, онъ писалъ Жуковскому: «Мив ли не благодарить пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидныхъ, незамбтиыхъ для свъта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдёлаю, чего не дълаетъ обыкновенный человѣкъ 1). Львиную силу чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрасть».... Далье говорится, что все. написанное имъ досель, это только—ученическая проба пера, незрълые опыты, и что настоящее, великое дъло—впереди. Для совершенія этого діла ему необходимо быть какъ можно дольше внъ отечества, на чужбинъ, гдъ онъ отдохнеть душой отъ твхъ непріятностей и огорченій, которыя онъ испыталъ на родинъ и которыя въ конць концовъ послужать ему въ пользу, въ интересахъ его внутренняго воспитанія. Для меня ність жизни вніс моей жизни (читаемь здъсь), и нынъшнее мое удаление изъ отечества, оно послано свыше твиъ же Великимъ Провид ніемъ, писпославшимъ все на воспитание мое ... (Письмо изъ Гамбурга отъ 28/16 іюня 1836 г.).

Какъ бы мы ни относились къ вопросу объ «искреиности» Гоголя, но мѣста въ письмахъ, въ родѣ приведеннаго, гдѣ онъ говоритъ о своемъ веспитаніи для великаго подвига, объ участіи Промысла, о необходимости для него далекихъ путешествій и жизни за границею и т. д., дышатъ песомиѣнною правдой; въ нихъ своеобразно выразилось то, что въ самомъ дѣлѣ происходило въ его душѣ, когда совершался ростъ его духа и генія, и перековывались въ поэтическія созерцанія и художественные образы различныя внечатльнія, вынесенныя изъ Россіи. Удалиться отъ непосредственнаго общенія съ объ-

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

ектами этихъ впечатленій, избавиться такимъ путемъ отъ чувствъ личнаго раздраженія и горечи было для Гоголя въ данное время насущною потребностью художника-мыслителя. письмѣ къ Погодину (отъ 22/10 сент. того же 1836 г.) онъ говоритъ между прочимъ: «...на Руси есть такая изрядная коллекція гадкихъ рожь, что невтерпежь мнь пришлось глядьть на нихъ. Даже теперь плевать хочется, когда объ нихъ вспомню. Теперь передо мною чужбина, вокругъ меня чужбина...» Онъ живо чувствовалъ и сознавалъ, что для самаго успеха его дела ему необходима «чужбина», какъ среда, гдв тягостныя и безотрадныя впечатлівнія, вынесенныя изь Россіи, волшебною силою вдохновенія превращались въ художественные образы, а горечь, раздражение и весь порядокъ скорбныхъ чувствъ смънялись тыми «высокими, торжественными ощущеніями», о которыхъ говорить онъ въ вышеприведенной выдержкъ изъ письма къ Жуковскому. Въ этомъ же письмѣ говорится: «Долье, какъ можно долье буду въ чужой земль. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будуть принадлежать Россін, но самь я, но бренный составъ мой будеть удаленъ отъ нея».

Работу надъ «Мертвыми душами», начатую въ Россіи, Гоголь возобновилъ въ Швейцаріи, въ Веве, о чемъ узнаемъ изъ письма къ Данилевскому (изъ Лозанны, отъ 23 окт. 1836 г. 1) и изъ письма къ Жуковскому отъ 12 ноября того же года изъ Парижа: «Осень въ Веве, наконецъ, настала прекрасная, почти лъто. У меня въ комнатъ сдълалось тепло, и я принялся за «Мертвыхъ душъ», которыхъ было началъ въ Петербургъ. Все начатое передълалъ я вновь, обдумалъ болъе весь планъ и теперь веду его спокойно, какъ льтопись... Если совершу это твореніе такъ, какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русьявится въ немъ!»... 2).

Работа продолжалась въ Парижъ. «"Мертвыя" текутъ живо, свъжъе и бодръе, чъмъ въ Веве (читаемъ въ томъ же письмъ), и мнъ совершенно кажется, какъ будто я въ Россіи: передо мною все наше, наши помъщики, наши чиновники,

<sup>1) &</sup>quot;Я сдълался болъе русскимъ, чъмъ французомъ, въ Веве, это все произопло отъ того, что я началъ здъсь писать и продолжать моихъ "Мертвыхъ душъ", которыхъ было оставилъ".

2) Разрядка моя.

наши офицеры, наши мужики, наши избы, - словомъ, вся православная Русь. Мий даже смешно, какъ подумаю, что я шишу «Мертвыхъ душъ» въ Парижъ... Огромно, велико мое твореніе 1) и не скоро копець его. Еще возстануть противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ, но что-жъ мев двлать! Уже судьба моя враждовать съ мончи земляками. Терпъніе! Кто-то незримый пишеть передо мной могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послъ меня будеть счастливъе меня, и потомки тёхь же земляковь монхь, можеть быть, съ глазами влажными отъ слезъ произнесуть примиреніе моей тѣни» 2).

Этотъ мотивъ-«вражда» съ «земляками», тягота и горечь русскихъ впечатлівній и отношеній, откуда-живая потребность быть подальше отъ нихъ и жить на «чужбинв», гдв эти впечатленія претворяются въ художественныя созерцанія Руси и гдъ, такимъ образомъ, должно осуществиться великое національное призваніе поэта, - этоть мотивъ повторяется и на разные лады звучить въ последующихъ письмахъ. Въ ответъ на письмо Погодина, гдв последній, сообщал о смерти Пушкина, звалъ Гоголя въ Россію, Гоголь пишетъ между прочимъ: «Ты приглашаешь меня вхать къ вамъ. Для чего? Не для того ли, чтобъ повторить въчную участь поэтовъ на родинъ? Для чего я прівду? Не видаль я разві дорогого сборища нашихъ просвещенныхъ невеждъ?.. О, когда я вспомню нашихъ судей, меценатовъ, ученыхъ умниковъ, благородное наше аристократство, сердце мое содрогается при одной мысли! Должны быть сильныя причины, когда онв меня заставили решиться на то. на что бы я не хотель решиться... Все живте чувствоваль онъ и ясиће сознавалъ невозможность для него ужиться среди непосредственныхъ впечатльній тогдашней русской дійствительности и, оставаясь въ Россіи, любить ее любовью художника-мыслителя и художника-гражданина. Только на "чужбинъ", созерцая Русь "изъ прекраснаго далёка", онъ ощущаль живое лействіе этой любви, этого стихійнаго тяготвнія къ своему національному цілому. И вотъ опъ пишеть (въ томъ же письм' къ Погодину-изъ Рима 30 марта 1837 г.): "Или я не

<sup>1)</sup> Разрядка Гоголя. 2) Разрядка моя.

люблю нашей неизмѣримой, нашей родной русской земли! Я живу около года въ чужой землѣ, вижу прекрасныя небеса, міръ, богатый искусствами и человѣкомъ; но развѣ перо мое принялось описывать предметы, могущіе поразить всякаго? Ни одной строки не могь я посвятить чуждому. Непреодолимою цѣпью прикованъ я къ своему, и нашъ бѣдный, неяркій міръ нашъ, наши курныя избы, обнаженныя пространства предпочелъ я небесамъ лучнимъ, привѣтливѣе глядящимъ на меня. И я ли послѣ этого могу не любить своей отчизны?" 1).

Поселившись въ Римъ, Гоголь весьма скоро приспособился къ условіямъ тамошней жизни и чувствоваль себя въ въчномь городъ такъ хорошо, какъ нигдъ. Климатъ, природа, памятники искусства, вся обстановка жизни, національный складъ втальянцевъ, пришедшійся ему такъ по душь, все это располагало его къ созерцательной жизни и творческой работъ художника, и здёсь онъ и написалъ (въ разное время) большую часть "Мертвыхъ душъ". Если бы возможно было, онъ остался бы здесь навсегда. И съ этихъ поръ въ его письмахъ то и дело встръчаются восторженные гимны Италіи и въ особенности Риму, и почти всегда эти гимны сопровождаются выражениемъ ръзкаго, порою очень странно звучащаго отвращенія къ жизни Россіи. Вотъ одно изъ напболье характерныхъ мъстъ этого рода: "Она (Италія) — моя! Никто въ мірѣ ея не отниметь у меня. Я родился здёсь. Россія, Петербургь, снъга, подлецы, департаментъ, канедра, театръ,все это мий снилось. Я проснулся опять на родинъ" (Письмо къ Жуковскому, отъ 30-го окт. 1837 г., изъ Рама). "О Римъ, Римъ! О Италія! Чья рука вырветь меня отсюда!" восклицаетъ онъ въ письмѣ къ Данилевскому (2 февр. 1838 г.). Въ письмахъ этого времени встрвчаются иногда довольно пространныя описанія Рима, его памятниковь, храмовь, часовень, процессій, карнавала и т. д., и по всему видно, что совокупность условій жизни и впечатлівній Рима дійствовала самымъ благотворнымъ образомъ на творчество Гоголя, -- здёсь посъщали его лучшія его вдохновенія, здысь, вмысть съ чувствомъ отвращенія къ жизни въ Россіи, особливо ярко вспыхивала у него та любовь къ Россіи или то стихійное тяготініе

<sup>1)</sup> Разрядка мон.

къ ней, въ силу которыхъ почти всв его художнические помыслы устремлялись къ ней одной. Изъ этого - то «прекраснаго далёка» и созерцалъ онъ Русь, которой и былъ посвященъ грандіозный замыселъ великой поэмы. Вспомнимъ: "...Русь! Русь! вижу тебя, изъ моего чуднаго, прекраснаго далека тебя вижу. Бъдно, разбросанно и непріютно въ тебъ; не развеселятъ, не испугаютъ взоровъ дерзкія дива природы, въпчанныя дерзкими дивами искусства... Открыто-пустынно и ровно все въ тебъ... Но какая же пепостижимая, тайная сила влечетъ къ тебъ? Почему слышится и раздается немолчно въ ушахъ твоя тоскливая, несущаяся по всей длинъ и ширинъ твоей, отъ моря до моря пъсня? Что въ ней, въ этой пъснъ? Что зоветъ, и рыдаетъ, и хватаетъ за сердце? Какіе звуки болъзненно лобзаютъ и стремятся въ душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего ты хочешь отъ меня?..." ("Мертвыя души", ч. І, гл. ХІ). Это была прежде всего связь тяготънія великаго худож-

Это была прежде всего связь тяготыная великаго художника къ тому національному цылому, къ которому онъ принадлежаль. Живые всего чувствоваль онъ всю силу этого тяготына въ минуты вдохновеній, въ часы творчества. А вдохновеніе наичаще приходило къ нему въ Римь, и тамь дольше, чымь гды либо, онъ могь предаваться творческой работы,—неудивительно поэтому, что именно въ Римь онъ и любиль Русь, предметь его художническихъ замысловь, его вдохновеній.

И онъ все более и более привязывался къ Италіи, къ Риму,—ему казалось, что это и есть его настоящая, его поэтическая родина, «родина души его», и будто только здёсь опъ можетъ жить и творить... Такъ, въ письме къ Балабиной (изъ Рима, 1838 г.) онъ, между прочимъ, говоритъ: «И когда и увидёлъ, наконецъ, во второй разъ Римь, о, какъ онъ мив показался лучше прежняго! Мив казалось, что будто я увиделъ свою родину, въ которой ивсколько летъ не бывалъ я, а въ которой жили только мои мысли. Но ивтъ, это все не то: не свою родину, по родину души своей я увиделъ, гдв душа моя жила прежде меня. прежде, чемъ я родился на светъ».

И темъ невозможнее представлялась ему жизнь въ другихъ мъстахъ, въ особенности же въ Россіи. На пути въ отечество, въ сентябрь 1839 г., онъ писалъ Жуковскому: «Если бы вы знали, чего мпе стои о бросить Римъ, хотя я внаю, что это не больше, какъ на два-три мъсяна. Но кля-

нусь, если бы мнѣ предлагали милліоны, и эти милліоны помножили еще на милліоны, и потомъ удесятерили эти милліоны, я бы не взяль ихъ, если бы это было съ условіемъ оставить Римъ, хотя на полгода»... Гоголь въ этотъ пріѣздъ возвращался въ Россію впервые послѣ смерти Пушкина, и тѣмъ безотраднѣе казалась ему жизнь въ отечествѣ. Прибывъ въ Москву и собираясь въ Петербургъ, онъ писалъ Плетневу: «Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина! Я пріѣду въ Петербургъ—и Пушкина нѣтъ! Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ?.. Бросьте все, и ѣдемъ въ Римъ! О, если бы вы знали, какой тамъ пріютъ для того, чье сердце испытало утраты. Какъ наполняются тамъ незамѣстимыя пространства пустоты въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ..»!

въ нашей жизни! Какъ близко тамъ къ небу! Боже, Боже, Боже! О, мой Римъ! Прекрасный мой, чудесный Римъ..»! Наступилъ 1840 годъ, а Гоголь все еще сидълъ въ Москвъ. Какъ тяжело ему было въ Россіи, какъ болъзненнострастно рвался онъ въ Италію, въ «свой» Римъ, видно изъ слъдующихъ мъстъ его писемъ.

«Боже! Какъ я глупъ, какъ я ничтожно, несчастно-глупъ! И какое странное мое существованіе въ Россіи! (пишетъ онъ Жуковскому изъ Москвы въ началѣ 1840 года). Какой тяжелый сонъ! О, когда бъ скорѣе проснуться! Ничто, ни люди, встрѣча съ которыми принесла бы радость, ничто не въ состояніи возбудить меня. Нѣсколько разъ брался я за перо писать вамъ и какъ деревянный стоялъ предъ столомъ: казалось, будто застыли всѣ нервы, находящіеся въ соприкосновеніи съ моимъ мозгомъ, и голова моя окаменѣла». Въ другомъ письмѣ къ Жуковскому (того же года) онъ опять восклицаетъ: «О Римъ мой, о мой Римъ! Ничего я не въ силахъ сказать... Но если бы меня туда перенесло теперь, Боже, какъ бы освѣжилась душа моя»! Около того же времени (25 января 1840 г.) въ письмѣ къ Погодину онъ говоритъ: «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скорѣе, скорѣе! Я погибну»...

(25 января 1840 г.) въ письмъ къ Погодину онъ говоритъ: «О, выгони меня, ради Бога и всего святого, вонъ въ Римъ, да отдохнетъ душа моя! Скоръе, скоръе! Я погибну»...

Наконецъ, ему удалось уъхать. Въ декабръ того же 1840 года онъ уже былъ въ Римъ и опять принялся за работу надъ «Мертвыми душами», а вмъстъ съ тъмъ вновь явилось у него и чувство любви къ Россіи. 28 декабря (1840 г.) онъ писалъ С. Т. Аксакову изъ Рима: «Я теперь прыготовляю къ совершенной очисткъ первый томъ «Мерт-

выхъ душъ». Перемѣняю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе... Между тѣмъ дальнѣйшее продолженіе его выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣе, и теперь я вижу, что можетъ быть современемъ кое-что колоссальное, если только позволятъ слабыя мои силы»... Ниже, въ этомъ же письмѣ, характерно слѣдующее: "Да, чувство любви къ Россіи, слы шу, во мнѣ сильно¹). Многое, что казалось мнѣ прежде непріятно и невыносимо, теперь мнѣ кажется опустившимся въ свою ничтожность и незначительность, и я дивлюсь, ровный и спокойный, какъ я могъ ихъ когда-либо принимать такъ близко къ сердцу".

Въ концѣ 1841 года Гоголь пріѣхалъ въ Россію для пе-

Въ концѣ 1841 года Гоголь прівхаль въ Россію для печатанія первой части «Мертвыхъ душъ». Много непріятностей и хлопотъ (главнымъ образомъ въ отношеніи къ цензурѣ) ожидало его здѣсь, и уже 10 января 1842 г. онъ писалъ (изъ Москвы) Максимовичу: «Если бы ты зналъ, какъ тягостно мое существованіе здѣсь, въ моемъ отечествѣ! Жду и не дождусь весны и поры ѣхать въ мой Римъ, въ мой рай, гдѣ я почувствую вновь свѣжесть и силы, охладѣвающія здѣсь»... Въ письмѣ къ Балабиной (того же года) читаемъ: «Вы уже знаете, какую глупую роль играетъ моя странная фигура въ нашемъ родномъ омутѣ, куда я не знаю, за что попалъ. Съ того времени, какъ только ступила моя нога въ родную землю, мнѣ кажется, какъ будто я очутился на чужбинѣ»... Въ письмѣ къ Плетневу (6 февраля 1842 г.) онъ восклицаетъ: «О, какъ бы мнѣ пуженъ былъ теперь мой тихій уголъ въ Римѣ, куда не доходять до меня никакія тревоги и волненія»!

Печатаніе «Мертвыхъ душъ» приближалось къ концу, и въ май 1842 г., собпраясь опять за границу, въ «свой» Римъ, Гогель писалъ Данилевскому: «Черезъ недёлю послё сего письма ты получишь отпечатанныя «Мертвыя души», преддверіе немного блёдное той великой поэмы, которая строится во мий и разрёшитъ, наконецъ, загадку моего существованія». А по пути въ Римъ онъ писалъ Жуковскому изъ Берлина (26 іюня 1842 года): «Скажу только, что съ каждымъ днемъ и часомъ становится свётлёй и торжественнёй въ душё моей, что не безъ цёли и значенія были мон пофадки, удаленія и

<sup>1)</sup> Газрядка моя.

отлученія отъ міра, что совершалось незримо въ нихъ воспитаніе души моей... что чаще и торжественнёй льются душевныя мои слезы и что живеть въ душё моей глубокая, неотразимая вёра, что небесная сила поможеть взойти мнё на ту лёстницу, которая предстоить мнё, хотя я стою еще на нижайшихъ и первыхъ ступеняхъ ея. Много труда и пути и душевнаго воспитанія впереди еще! Чище горняго снёга и свётлёй небесъ должна быть душа моя, и тогда только я приду въ силы начать подвиги и великое поприще, тогда только разрёшится загадка моего существованія!»

#### II.

Этотъ рядъ выдержекъ рисуетъ намъ тотъ сложный продессъ, который совершался въ душѣ Гоголя въ періодъ между 1836 и 1842 годами, когда онъ работалъ надъ первою частью «Мертвыхъ душъ». Теперь постараемся дать этому душевному процессу посильное истолкованіе.

Въ его составъ входитъ рядъ моментовъ, изъ которыхъ каждый можетъ имѣть свое объясненіе, являющее ложный видъ «достаточнаго основанія».

Первый моменть — «бёгство» Гоголя изъ Россіи въ 1836 году и горечь, съ которою онъ отзывается объ отечествё въ это время, — легко объясняется тёми непріятностями, какія выпали на долю автора «Ревизора» послё постановки знаменитой комедіи. Это была первая и, кажется, самая бурная «ссора» Гоголя съ соотечественниками. Ему пришлось испытать то, что весьма часто приходится испытывать писателямъсатирикамъ. Болёзненно-чуткая и неуравновёшенная натура Гоголя была глубоко потрясена всёми кривыми толками, всей массой тупого непониманія, осужденіями и своего рода «гоненіями» со стороны подавляющей массы общества, представителями которой были въ литературё Сенковскій, Булгаринъ и др. Послёдовавшая вскорё смерть Пушкина явилась новымъ ударомъ, который, можно сказать, ошеломилъ Гоголя, выбиль его изъ колеи 1). Потухъ свёть, озарявшій его темный путь,

<sup>1)</sup> См. соотвътственныя мъста изъ писемъ, приведенныя въ гл. II (и въ этой). Вотъ еще одно: "Смерть Пушкина, кажется, какъ будто отняла отъ всего, на что погляжу, половину того, что могло бы меня развлекатъ" (въ письмъ къ Прокоповичу отъ 19 сентября 1837 г. изъ Женевы).

потнынь великое дьло Гоголя должно было совершаться во тьиь: разсьять эту тьму не могли—для него—ть лучи, которые исходили оть немногихъ просвыщенныхъ умовъ, понимавшихъ, что такое Гоголь и въ чемъ его призваніе. Россія безъ Пушкина казалась ему еще непригляднье, еще безотраднье... И всь его—личныя, интимныя—связи съ отечествомъ ограничивались теперь семьею и дружескими отношеніями съ нъсколькими лицами, которыя его понимали и цынин, которыхъ опъ любилъ,—съ Данилевскимъ, Проконовичемъ, Жуковскимъ, Погодинымъ, Аксаковымъ и нъкоторыми другими.

Второй моменть — очарование Италией вообще и Римомъ въ частности — нетрудно истолковать твит, что, при общемъ благотворномъ дъйствіи на Гоголя климата, природы Италіп, культурной обстановки и художественныхъ впечатленій, какія доставляль Вічный городь, здісь впервые, какъ говорится, окончательно «наладилась» завыная работа Гоголя нады «Мертвыми душами» и установился известный навыкъ, всегда необходимый для творчества. Уже въ силу одного этого навыка, т. е. усвоенной умомъ привычки работать среди опредъленной обстановки, Гоголь долженъ былъ привязаться къ Италіи, и эта привязанность къ мѣсту по необходимости становилась тімь сильнье, чімь дальше подвигалась работа. А эта работа была «вдохновенная», она доставляла поэту высокія умственныя наслажденія, и «восторги творчества» ассоціировались съ впечатленіями места. Выражая свою восторженную любовь къ Риму, Гоголь, повидимому, не подозрѣвалъ, что для него величе Колизея, красота храма св. Иетра, таинственная прелесть старинныхъ часовенъ и т. д. усугублялись тёмъ, что здёсь, среди этой чарующей обстановки, сози-дались и разрабатывались фигуры «Мертвыхъ душъ». Нельзя сомивваться въ томъ, что Чичиковъ съ Коробочкой, Селифанъ съ Петрушкой и т. д. не мало украсили—для Гоголя—Римъ, и что Колизей и храмъ св. Петра безъ Собакевича, Манилова и Ноздрева утратили бы для поэта Руси добрую долю своего обаянія...

Третій моменть — любовь къ Россіи изъ прекраснаго далёка — психологически связань съ только что разсмотрѣннымъ вторымъ: «восторги творчества», усугубляя очарованіе Римомь, въ то же время примиряли поэта съ его отечествомъ, которое и было объектомъ этого творчества. Горечь личныхъ обидъ, острыя впечатлѣнія недавней «ссоры» съ соотечественниками исчезали въ радостяхъ вдохновеннаго труда. Среди созерцаній Руси изъ прекраснаго далека не было мѣста другимъ чувствамъ къ ней, кромѣ чувства той любви, подъкоторою скрывалось тяготѣніе великаго поэта къ своему національному цѣлому.

Четвертый моменть—тоска по Риму и отвращение къ жизни въ Россіи, которыя Гоголь испытываль и такъ откровенноръзко выражаль въ своихъ письмахъ во время прівздовъ въ отечество,—получаеть свое освѣщение изъ предыдущаго. Отъ поэзіи творчества Гоголь переходиль тогда къ тягостной для него прозѣ существованія, осложненной къ тому же денежными затрудненіями, долгами, недоразумѣніями съ друзьями московскими и петербургскими, хлопотами и всякимъ инымъ, какъ онъ выражался, «дрязгомъ жизни»<sup>1</sup>). Гоголь примирялся съ отечествомъ и любиль его, когда, живя въ Италіи, онъ создаваль свои великолѣпные національные типы (ихъ отрицательный характеръ ничуть не мѣшалъ этой «любви»); но когда онъ, живя въ Россіи, вступалъ въ непосредственное, дѣловое, житейское общеніе съ дѣйствительностью, воплощенною въ этихъ типахъ, тогда онъ чувствоваль себя отвратительно.

Итакъ, всв эти моменты находятъ себъ объясненіе, и притомъ такъ, что раскрывается внутренняя связь между ними.

Но нетрудно видёть всю недостаточность этихъ объясненій: въ своей элементарности и прагматичности они годились бы для всякаго другого писателя, который находился бы въ положеніи Гоголя. Они только намѣчають, но отнюдь не истолковывають намъ данный душевный процессъ во всей его индивидуальности—такъ, чтобы изъ этого объясненія мы могли вынести что-нибудь новое, что-нибудь опредѣленное и болѣе или менѣе важное для пониманія душевнаго уклада Гоголя и для освѣщенія темныхъ путей его творчества.

Поэтому необходимо, такъ сказать, индивидуализировать

<sup>1)</sup> Эти отношенія къ друзьямъ и "недоразумѣнія" прослѣжены шагъ за шагомъ и документально разслѣдованы въ капитальномъ трудѣ В. И. Щенрока ("Матеріалы для біографіи Гоголя", именно въ томахъ Щи и IV). Въ высокой степени цѣнны эпизодическія изслѣдованія покойнаго Н. С. Тихоиравова (въ примѣчаніяхъ къ изданію сочиненій Гоголя) и проф. А. И. Кирпичникова ("Гоголь и Погодинъ" въ "Русск. Стар." и др.).

приведенныя объясненія, исходя изъ того, что въ предыдущихъ главахъ мы говорили о характерныхъ особенностяхъ ума и натуры творца «Мертвыхъ душъ».

Обращаясь къ этой задачь, мы сперва укажемъ на слъдующее обстоятельство, которое, на первый взглядь, легко можно принять за выражение одного изъ многихъ противоръчий, какими такъ богата натура Гоголя. Мы указывали уже на замкиутость, на неэкспансивность, какъ на одну изъ отличительныхъ черть его характера. Это признается всёми и было отмъчено еще современниками великаго писателя. И однако же едва ли найдется у насъ другой писатель, который бы раскрыль намъ свою душу, свои тайныя помышленія, свои страданія, наконецъ, разныя подробности, относящіяся къ творческой работь, въ такой мърь, съ такою обстоятельностью, съ такою откровенностью, какъ сделаль это Гоголь — и не только въ интимныхъ письмахъ къ друзьямъ, но и въ печатныхъ произведеніяхъ («Авторская испов'єдь», нікоторыя страницы «Выбранныхъ мѣстъ»). Въ то время, какъ въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина и Тургенева едва можно набрать согню-другую строкъ этого рода признаній, въ литературномъ наслідіи и нисьмахъ Гоголя они занимають не одну сотню страницъ1). Какъ согласовать это съ столь известною скрытностью, неэкспансивностью Гоголя?

Противоръчіе—только кажущееся и оно легко устраняется слъдующимъ соображеніемъ.

Въ первой главѣ мы указали на то, что творчество Гоголя было, въ значительной мѣрѣ, с убъективнымъ, т.-е. онъ во многомъ исходилъ изъ само наблюденія, и свои художественные эксперименты зачастую производилъ на дъсамимъ собой. Повидимому, эта субъективность въ творчествѣ связывалась интимными психическими узами съ самой натурой Гоголя, съ его характеромъ, какъ человѣка, и представляла собою, въ сферѣ творчества, какъ бы отраженіе и коррелять все той же замкнутости въ себѣ, все той же склонности носиться съ своимъ «я», предаваться самонаблю-

<sup>1)</sup> Если выбрать и соединить въ одной кипт в вев мвета изъ инсемъ, прямо или косвенно относящием къ художественному творчеству Гоголя, то, вмьеть съ "Авторскою исповьдью" и соотвътственными частями "Выбранныхъ мьетъ", они составили бы порядочный томъ.

денію въ большей мірь, чімь это свойственно всякой рефлектирующей и стремящейся къ самосознанію душт человіческой. Вообще представляется в роятнымь, что существуеть психическое сродство между такимъ избыткомъ самоанализа, какъчертой характера, и субъективностью творчества, какъ особенностью таланта, подобно тому, какъ, съ другой стороны, должно быть сродство между душевнымъ укладомъ, характеризующимся извъстнымъ минимумомъ самоуглубленія и здоровою воздержанностью самоанализа, и объективностью творческаго дара. Какъ бы то ни было, но въ отношени къ Гоголю нельзя отрицать того, что субъективный пошибъ его творчества какъ нельзя лучше гармонировалъ съ присущей ему «замкнутостью въ себъ», съ его самоуглубленіемъ и самоанализомъ — чертами, которыя, въ своемъ последовательномъ ж отчасти бользненномъ развитіи, привели вскорь и къ самобичеванію, самоугрызеніямъ, покаяніямъ и, наконецъ, къ ностановкъ извъстной мудреной задачи «своего душевнаго дъла». При сильно выраженныхъ особенностяхъ такого душевнаго уклада и соотвътственнаго ему творческаго дарованія внутреннее (я) человъка становится центромъ, вокругъ котораго вращаются сперва всв его личныя стремленія, помыслы, идеалы, - вообще его внутренній міръ, а потомъ въ эту сферу психического тяготенія вовлекается и внёшняя среда, и тогда все, что не «я», все объективное, получаетъ для человъка смыслъ и значеніе лишь постольку, поскольку оно входить въ кругъ его душевныхъ интересовъ и въ сферу его интимнаго пониманія. Все прочее, безъ дальнихъ разговоровъ, отметается, какъ ненужное, неважное, пустое, пичтожное. На такой ступени развитія субъективности натуры, ума и дарованія осуществляется тоть укладъ духа, который можно назвать «эгоцентричностью сознанія». Этоть укладь ясно виденъ у Л. Н. Толстого, впрочемъ, отчасти умъряемый широкимъ образованіемъ и разпосторопностью его умственныхъ и нравственныхъ интересовъ. У Гоголя несомевнно была очень ярко выраженная эгодентричность сознанія, къ тому же усиливаемая скудостью его образованія, темнотою его мысли, узкостью и неразносторонностью его умственныхъ интересовъ.

Вотъ именно этотъ эгоцентрический укладъ исихики Гоголя и долженъ быть взятъ исходною точкой всёхъ попытокъ исихологическаго (и при томъ «индивидуализированнаго»)

объясненія тёхъ душевныхъ состояній, которыя переживалъ великій поэтъ въ разсматриваемое время, когда онъ, созерцая Русь изъ прекраснаго далёка, воплощалъ эти созерцанія въ безсмертныхъ образахъ и картинахъ «Мертвыхъ душъ».

II прежде всего, для устраненія вышеуказаннаго кажущагося противорьчія, замьтимь, что, какъ бы человькъ ни быль скрытенъ и неэкспансивенъ, разъ онъ-натура эгоцентрическая и «полонъ собою», онъ невольно разскажеть о себъ, откроетъ свою душу тѣмъ или инамъ способомъ гораздо скорве и полнье, чъмъ сдълаль бы это самый экспансивный, самый откровенный человъкъ неэгоцентрическаго уклада, - человъкъ, который не «носится» съ самимъ собою, а больше смотритъ по сторонамъ и живетъ впечатлъніями міра вифиняго въ большей мъръ, чъмъ рефлексіей своего внутренняго бытія. По пословице «что у кого болить, тоть о томъ и говорить», человъкъ, полный собою, говорить о себъ потому что быть полнымъ собою значить, въ известномъ смысль, «болеть собою». Слишкомъ центральное положение человъческого «я» есть бремя неудобоносимое. Вниманіе, напряженно устремленное внутрь, утомляется скорве и больше, чвиъ внимание, обращенное къ вившнему міру. Ибо п темно, п тревожно въ душт человъческой, и взоръ, прикованный къ ел микрокосму, смотритъ въ темноту и по необходимости становится игралищемъ всего, что тамъ залежалось, что тамь глухо бродить, что прячется, -- разныхъ болье или менье допотонныхъ попятій, спящихъ въ безсознательной сферъ духа, различныхъ иллюзій сознанія и тайныхъ самообмановъ чувствъ, имѣющихъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, и становящихся ложью. когда обнаружены.

Даже при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ жизни и діятельности человівка, когда онъ не испытываеть особливой душевной боли, когда онъ вполить удовлетворенъ и счастливъ, крайній эгоцентризмъ духа есть уже болізнь и самъ по себі можетъ причинить своеобразныя душевныя страданія, особыя томленія мысли и совісти, которыя будуть искать себі выхода, дійствительнаго или кажущагося облегченія во видшнемъ выраженій, въ слові, въ признаній, въ исповіди, въ поступкахъ, наконець въ творчестві, если человікъ обладаеть творческимь даромъ. Тімъ паче становится этоть укладь болізнью, пногда роковою, и причиняеть жестокія муки тогда, когда условія жизни и дѣятельности человѣка складываются неблагопріятно для него, когда ему приходится такъ или иначе переносить несправедливость, «кривые толки, шумъ и брань», видѣть себя непонятымъ, неоцѣненнымъ, когда наносятся чувствительные удары самолюбію или самомнѣнію человѣка. И человѣкъ будетъ очень и очень «боленъ собою» и непремѣнно будетъ много, много говорить или писать все о себѣ, о себѣ...

Такъ было съ Гоголемъ.

Высказаться, «исповедаться», и при томъ публично, выразиться въ словъ и въ дъйствіи (и чьмъ меньше «дъйствія», тъмъ больше «словь») было для Гоголя, какъ натуры крайне эгодентрической, глубокою душевною потребностью. Оттуда и обиліе интимныхъ писемъ, и «Авторская испов'ядь», и появленіе «Выбранных» мість изъ переписки съ друзьями», и страсть поучать, наставлять, пропов'ядывать (если не ошибаюсь, всв проповедники-натуры эгоцентрическія), и наконецъ, тотъ особый родь «хлестаковщины», который составляль одну изъ черть личнаго характера Гоголя и должень быть отличаемь отъ хлестаковщины, воплощенной въ безсмертномъ образъ Ивана Александровича Хлестакова. Лично-гоголевская хлестаковщина-не лганье, а только невольное, преждевременное оповъщение о литературныхъ предпріятіяхъ, которыя только задуманы («8 томовъ» исторіи Малороссіи, «нічто колоссальное» — о «Мертвыхъ душахъ», которыя едва были начаты, выраженіе «преддверіе той великой поэмы, которая строится во мнѣ» и т. д. и т. д.). Это только отсутствіе авторской скромности. Повидимому, скромность вообще не свойственна натурамъ эгоцентрическимъ 1).

Читая вышеприведенныя выдержки изъ писемъ, вникая въ ихъ приподнятый, болъзненно-страстный тонъ, мы живо представляемъ себъ повышенное самочувствіе человъка, который ни при какихъ условіяхъ не перестаетъ ощущать давленіе своего «я». Случится ли непріятность, горе, или, наобороть, явится радость, — это «я» давить на душу и окра-

<sup>1)</sup> Замѣтимъ кстати, что нескромность и хвастовство, свойственныя юности, являются выраженіемъ того нормальнаго и преходящаго эгоцентризма, который присущъ всякому человѣку, когда онъ молодъ, полонъ силъ и бодро смотритъ въ свое будущее. Эт о тъ юный эгоцентризмъ съ годами умѣряется и исчезаетъ. Настоящія эгоцентрическія натуры—это тѣ, у которыхъ эгоцентризмъ съ годами не проходитъ, а, напротивъ, все усиливается.

шиваеть всё впечатлёнія въ первомъ случат чрезмёрностью болевыхъ ощущеній, во второмъ— избыткомъ душевнаго наслажденія. Такой человѣкъ не можетъ отдаться впечатлѣнію такъ, чтобы его «я» на время потонуло въ этомъ впечатльній. Восторгаясь Римомъ, Гоголь не переставалъ чувствовать свое «я», которое восторгалось. Въ Россіи, среди разныхъ непріятностей, гнетущихъ впечатльній, страдая отъ «дрязга жизни», онъ жаво ощущалъ свое «я», которое страдало. Эгоцентрическій укладь Гоголя можеть быть охарактеризовань такь: невольно, самъ не отдавая себъ отчета въ томъ, Гоголь становился, въ своихъ отношеніяхъ къ окружающей средь, къ людямъ, къ жизни, на точку зрвнія, выражаемую въ формуль: «я и все прочее». И вотъ именно «все прочее» отражалось въ его душт не само по себт, а черезъ посредство настроеній его «я», которое навязчиво и неотступно сопутствовало всякому впечатльнію, всякому душевному движенію. Его чувства осложнялись самочувствіемъ. Быть можеть, во всемь этомъ следуеть видъть извъстный психозъ, но и помимо психоза Гоголь могь быть такимъ въ силу эгоцентрическаго уклада своей натуры. Вспомнимъ еще разъ Л. Н. Толстого, образецъ вполні здоровой и даже уравновъшенной и вмъстъ съ тъмъ ръзко эгоцентрической натуры: вѣдь и у него отчетливо проявляется точка зрѣнія, выражаемая тою же формулой: «я и все прочее», и въ его мысляхъ, впечатлѣніяхъ, ощущеніяхъ всегда съ большею или меньшею ясностью обнаруживается то, что мы называемъ настойчивымъ присутствіемъ центральнаго «я». Нѣтъ надобности быть психически больнымъ (опредъленною формой психоза) для того, чтобы «больть» слишкомъ центральнымъ положениемъ своего «я», его давлениемъ на всю психику.

Для Гоголя, какъ натуры эгопентрической, въ высокой степени характерно также и то, что всю жизнь онъ бился надъразръшеніемъ «загадки своего существованія». Ему всегда казалось, что онъ «посланъ» въ міръ свыше (всномнимъ: «Миѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю...»—въ письмѣ къ Жуковскому), что ему предстоитъ великое «поприще», что жизнь его должна быть какимъ-то «служеніемъ». Это также одно изъ проявленій общей неспособности души отдаться внечагльнію, дълу, призванію такъ, чтобы не думать о себъ, не чувствовать себя. Пытливый взоръ художника, созерцавшаго Русь, то и лѣло устремлялся внутрь. Великій поэть одновременно видълъ и Русь,

и себя самого, ее созерцающаго. И какъ разновидность общей формулы «я и все прочее», возникала болье частная формула «я, Гоголь, и Русь». Упрочиваясь на этой точкъ зрънія, онъ думалъ «разрѣшить загадку своего существованія», и созерцанія Руси сливались въ одно цѣлое, въ одну сложную задачу съ тѣми внутренними самосозерцаніями, на которыхъ основывалось его «душевное дѣло»,—дѣло воснитанія себя, нразственнаго совер-шенствованія. Казалось бы, послѣ созданія первой части «Мерт-выхъ душъ» призваніе Гоголя, какъ великаго національнаго поэта-сатирика и мощнаго двигателя общественнаго сознанія на Русп, выяснилось съ достаточною опредъленностью; но онъ продолжалъ думать, что загадка его существованія еще далеко не разрѣшена, и все глубже и глубже вперялъ онъ взоръ внутрь себя, а тамъ становилось все темнѣе, все тревожнѣе. Помимо разныхъ чисто личныхъ невзгодъ, которыя только осложняли дъло или обостряли душевную боль, великая тревога его души состояла въ томъ, что онъ, въ силу все того же крайне эгодентрическаго уклада натуры, не могъ целикомъ отдаться своему трическаго уклада натуры, не могь цъликомъ отдаться своему призванію художника, не быль въ состояніи повиноваться велівніямь своего генія. Недаромъ, уже воплотивь свои созерцанія Руси въ безсмертные типы и картины «Мертвыхъ душъ», онъ пришель къ вопросу: «Русь! какая непостижимая связь таится между нами?» Великое художественное діло не разрішило личной задачи художника и выдвинуло новый вопросъ. Ему казаной задачи художника и выдвинуло новый вопросъ. Ему казалось, что онъ призванъ къ чему-то иному: въ великомъ художественномъ подвигѣ не растворилось, не упразднилось то, что было дано въ формулѣ: «я и Русь». Формула осталась попрежнему и требовала новой работы. Попрежнему «Русь» смотрѣла (такъ казалось ему) на поэта очами, полными ожиданія. «Русь! чего же ты хочешь отъ меня?»—вопрошаль онъ. Полныя ожиданія очи дѣйствительно были обращены на него,—это были очи Бѣлинскаго, Аксаковыхъ, Анненкова, Тургенева, Герцена и др., но на эти очи Гоголь обращаль мало вниманія. Весь погруженный въ себя «полный собою» можно сказать полявпогруженный въ себя, «полный собою», можно сказать нодавленный тяжестью своего «я», онъ быль жертвою иллюзіи, будто съ такою же силою и властностью выступаеть его личность и передъ лицомъ «Руси», будто «все, что ни есть на Руси, обратило въ него полныя ожиданія очи» («Мертв. души» ч. І, гл. XI). Оттуда роковымъ образомъ зарождалась мысль, что его личная задача далеко не исчернывается призваніемъ художника. Его

эгоцентризмъ былъ того рода, который характеризуется или осложняется стремленіемъ человѣка проявить свое «я» не столько въ творчествѣ, сколько въ другомъ, иногда довольно трудномъ выраженіи, которое мы назовемъ «о с у ще с т в л е н і е м ъ обще с т в е н ю й с т о и м о с т и» человѣка. Нѣтъ надобности, конечно, быть натурою эгоцентрическою, чтобы стремиться къ осуществленію своей общественной стоимости. Это — стремленіе вообще человѣческое, слишкомъ человѣческое... Но у натуръ эгоцентрическихъ оно должно проявляться съ особливою настойчивостью. Повидимому, разъ онѣ одержимы этой «духовной жаждой» — проявленія себя въ общественной средѣ, онѣ томятся и страдають при невозможности достичь его въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ натуры иного склада. Это станеть ясиѣе, когда мы разъяснимъ, что именно понимаемъ мы подъ терминомъ "осуществленіе общественной стоимости человѣка".

## III.

Человъкъ, искони "животное общественное". прежде всего хочеть быть членомъ общества, единицею въ групить себт подобныхъ. Личная задача всякаго нормальнаго человъка сводится къ тому, чтобы, вступая въ сознательную и лично отвътственную жизнь, онъ не оказался въ общественной сред и илемь или балластомъ. Въ обществахъ, стоящихъ на болье или менье низкихъ. арханческихъ или "варварскихъ" ступеняхъ культуры, гдв еще ивтъ расцвъта индиведуальности, человъку не трудно стать членомъ общества, почувствовать и сознать себя единицею въ группв. Тамъ люди, можно сказать, рождаются съ готовою общественною стоимостью, которую, придя въ возрасть, они безпрепятственно осуществляють среди несложных в, стойких в. отпосительно неподвижных формь общественности. Тамъ общественная роль человька заранье опредълена и мьсто ему уготовано, проложенъ и утонтанъ его путь въ жизни, для прохожденія котораго не требуется особой подготовки. спеціальных в знаній, личныхъ качествъ. При несложности отношеній, при незначительности индивидуальных в различій, человыческой осоон не трудно приспособиться къ группф, войти въ тесное общение съ себъ подобными, безъ чего невозможно осуществление общественной стоимости. Пусть, съ нашей точки зрвиія, она ничтожна, она — грошъ, но это "грошъ" реальный, а не только

мечта о грошѣ, не только стремленіе къ нему. Совершенно иную картину являють намъ отношенія личности къ группѣ въ современномъ цивилизованномъ обществѣ, характеризующемся большою сложностью отношеній, многообразіемь и нерѣдко трудностью задачь, предстоящихъ человъку, необходимостью особой подготовки, спеціальных знаній, господством борьбы и конкуренціи, пышнымъ развитіемъ индивидуализма. Здёсь человъкъ, вступая въ сознательную жизнь, долженъ еще найти, раздобыть, завоевать себъ мъсто въ обществъ, вовсе не уготованное ему заранъе; фактъ присутствія человъка въ обществъ еще не дълаеть его величиной общественной. Лишь крайне ръдко становится онъ таковою непроизвольно, въ силу стеченія особо благопріятныхъ условій; въ огромномъ большинствъ случаевъ осуществленіе общественной стоимости является мудреною за-дачею со многими неизв'єстными, которую челов'єкъ долженъ рвшить самъ, конкурируя съ другими, вооружаясь знаніями всякаго рода, приспособляясь къ требованіямъ и условіямъ все усложняющейся и растущей цивилизаціи. Вопрось труда и заработка на разныхъ поприщахъ, т. е. личная задача матеріально необезпеченнаго человъка найти въ обществъ спросъ на свой трудъ и пріобръсть средства къ существованію, образуеть лишь особую, хотя и чрезвычайно важную сторону общаго вопроса осуществленія человѣкомъ своей общественной стоимости. Можно быть вполнъ обезпеченнымъ матеріально и все таки не осуществить своей общественной стоимости. Относясь къ тому порядку пси-хическихъ явленій, который обнимается понятіемъ психологім общественных в отно шеній и связей личности, задача осуществленія общественной стоимости есть, по существу, задача общественно-психологическая. Суть дъла здъсь не въ томъ, чтобы человъкъ фактически находился въ обществъ, имъль въ немъ свое мъсто, дъло, заработокъ, а чтобы онъ, имъя это, кромъ того чувствовалъ себявеличиной общественной и звеномъ въ психологической цёпи, связующей людей въ организован-ное соціальное цёлое. Если онь не чувствуеть этого, то его общественная стоимость не можеть считаться осуществленною. Весьма и весьма часто ея осуществление въ самомъ дълъ зависить отъ того, найдеть ли человъкъ въ обществъ спросъ на свой трудь. Но всегда возможны случай, когда люди, найдя эгогь спрось и пріобрати прочное положеніе въ общест-

вв, все-таки остаются случайными наемниками, не вступають въ тесное, интимное общение съ соціальною средой, не чув-ствують себя въ ней величиною общественною. Съ другой стороны, мы видимъ людей, которымъ не приходится завоевывать себъ свое місто въ обществъ, потому что оно само собою упрочивается за ними въ силу ли ихъ тэланта, или ихъ богатства, или, наконецъ, происхожденія. Для нихъ осуществленіе общественной стоимости представляеть задачу сравнительно легкую. Но это еще не значить, что она непремённо будеть рышена ими. Неръдко оказывается, что ихъ, повидимому, осуществленная общественная стоимость на добрую долю—фиктивна, что она какъ бы пародія настоящей общественной стоимости, что въ сущности эти люди только живутъ въ обществв, какъ провзжающе въ гостинницв. Встрвчаются также и таке случан: человъкъ сознаетъ себя несомнънною величиной въ обществъ и дълаетъ дъло, которому нельзя отказать въ общественномъ значенін, но общество не цінить его заслугь, не понимаеть пользы и смысла его дъятельности, и человъкъ поневолъ является «лишнимъ». Таковымъ онъ можетъ сделаться и по своей винь, т. е. по неумьнію согласовать свою дьятельность съ интересами общества. Въ томъ и въ другомъ случав его общественная стоимость остается неосуществленною, хотя бы онъ и не былъ «безпріютнымъ скитальцемъ», какъ Рудинъ. Дъйствительность представляетъ большое разнообразіе случаевъ неосуществленія общественной стоимости людей и незачамь перечислять ихъ. Сложились даже типы людей съ неосуществленною общественною стоимостью, извъстные подъ названіями: «неудачники», «лишніе люди», «отщепенцы» и т. д.

Все вышесказанное объедивяется въ слѣдующихъ положеніяхъ: 1) Осуществленіе общественной стоимости предполагаеть: а) общественное значеніе дѣятельности человѣка, б) признаніе этого значенія обществомъ, в) сознаваніе личностью, что она—величина общественная. 2) Подъ обществомъ понимается въ данномъ случаѣ та соціально организованная среда, къ которой личность фактически принадлежитъ — какъ житель, обыватель, дѣятель, гражданниъ. При классовомъ характерѣ общественнаго строя ближайшею средой, гдѣ осуществляется общественная стоимость личности, являются вменно классы; но личность можетъ, разумѣется, стремиться къ осуществленію своей сбщественной стоимости и въ болѣе ши-

рокой средь, вны классовь, служа на томы или иномы поприщь всему народу или же государству, если послыднее не носить слишкомы опредыленнаго классоваго характера. 3) Среда, гдь осуществляется общественная стоимость человыка, можеть быть для одного уже, для другого шире, она можеть мыняться: сейчась человыкы имыеть свою общественную стоимость вы одномы мысты, вы одномы классы, вы одномы государствы; сы течениемы времени оны можеты перенести ее вы другое мысто, вы другой классы, вы другое государство. 4) Общественная стоимость человыка есть явление прижизненное: со смертью человыка она исчезаеть, вы противоположность другому значеню человыка—національному, а также общечеловыческому, которыя со смертью не всегда прекращаются, а нерыдко еще возрастають, иногда же только послы смерти и выясняются сы полною опредыленностью.

Этотъ послѣдній пунктъ (различеніе общественной стоимости человѣка, съ одной стороны, и его національнаго или общечеловѣческаго значенія съ другой) представляетъ особую важность и требуетъ нѣкоторыхъ поясненій.

Національное или, еще шире, общечелов вческое значеніе пріобрътають сравнительно немногія личности, большею частью въ силу извъстныхъ дарованій или того, что называется геніальностью 1). Общественная стоимость (въ возможности) — это принадлежность всёхъ и каждаго (кромё, разумется, тёхъ, которые отъ природы не способны къ общественной жизни, напр., идіоты, исихически-больные, прирожденные преступники и проч.). Осуществляясь въ широкой соціальной средв (напр. въ государствъ), общественная стоимость выдающагося человъка можетъ возвыситься до національнаго или даже общечеловъческаго значенія (Солонъ, Периклъ, Цезарь, Наполеонъ, Петръ Великій, Николай Милютинъ. Бисмаркъ и т. д., и т. д., при огромномъ разнообразіи въ разм'трахъ и самомъ характеръ значенія личности). Въ этихъ случаяхъ мы видимъ со в м ъщеніе двухъ явленій (общественной стоимости и національнаго или общечеловъческого значенія), но самыя-то явленія остаются различными, -- явленіями разнаго порядка. И, оче-

<sup>1)</sup> Говорю "большею частью", потому что возможны (да и бывали) случан, когда, благодаря исключительнымъ обстоятельствамъ, пріобратали такое значеніе лица, не имавшія особыхъ дарованій или вообще соотватственнаго призванія.

видно, чувствовать свое національное значеніе-это одно, а чувствовать свою общественную стопмость осуществленною— это другое. Это-—два разныхъ чувства. Сплошь и рядомъ осу-ществленіе даже очень большихъ общественныхъ стоимостей отнюдь не приводить къ пріобрѣтенію ихъ обладателями значенія національнаго. И наобороть: даже великое національное или общечеловъческое значение великаго человъка вовсе не предполагаеть, что онь при жизни осуществиль свою общественную стоимость. Въдь національное или общечеловіческое значеніе можно пріобръсти, находясь, такъ сказать, вив общества, т. е. не будучи непосредственнымъ участникомъ въ жизни опредъленной соціальной группы и, следовательно, не вмёя фактической возможности осуществить свою общественную стоимость. Яркій примірь этого—Спиноза. Колоссальное всемірное значеніе его вит сомития; но общественной стопмости этоть великій человікь не иміль, ибо не быль единицею ни въ какомъ коллективномъ целомъ и жилъ, верне-«существоваль», внъ общества, принадлежа «только» человъчеству на всъ грядущіе въка.

И по-своему онъ былъ счастливъ. Онъ не нуждался ви въ какой общественной стоимости. Но это большая радкость. Вь огромномъ большинствъ случаевъ ни національное, ни общечеловъческое значение не отнимають у человъка живой душевной потребности чувствовать свою общественную стоимость осуществленною. Человъкъ жаждеть быть сейчась, ежедневно, постоянно, въ своемъ будничномъ существовании. опредъленною общественною величиною, единицею (а не нулемъ) въ средъ, гдт онъ живеть, съ которою онъ сроднился, гдт вет важньйшіе интересы его. Завидная, славная доля національнаго генія не парализуеть стремленія къ блаженству быть обывателемъ. Ибо, по существу, «обывательское», чувство осуществленной общественной стоимости есть въ самомъ дълъ одно изъ наиболье «блаженныхъ» чувствъ. Оно изъ числа тъхъ. происхождение которыхъ теряется въ глубинъ доисторическихъ временъ, когда человъческой личности не было, а было только человъческое общество -- стадо. Чувство, о которомъ мы говоримъ, представляетъ собою одну изъ позднихъ и сложныхъ метаморфозь стаднаго чувства. Оно-инстинкть. И всь проявленія его отмічены стихійностью и силою, свойственными инстинктамъ.

Невозможность осуществить свою общественную стоимость нерёдко сопровождается душевными страданіями. Участь отщепенца слишкомъ тяжела, иногда невыносима, и, если не ошибаюсь, многія самоубійства, въ послёднемъ счеті, должны быть относимы къ этой причині. Правда, на ряду съ этимъ мы видимъ не мало людей, повидимому, вполні равнодушныхъ къ возможности или невозможности осуществить свою общественную стоимость. Это, конечно,—отнюдь не Спинозы, не исключительно—великія индивидуальности, поднявшіяся выше общественности, а индивидуумы съ атрофированнымъ соціальнымъ чувствомъ, опустившіеся ниже уровня общественности,— соціальные нули и балласть... Симптомомъ такой атрофіи служить полное отсутствіе у нихъ чувства честолюбія, какъ, съ другой стороны, наличность этого чувства является показателемъ живого стремленія человіка къ осуществленію его общественной стоимости.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю. Намъ кажется, что многое во внутреннемъ мірѣ и въ поступкахъ этого загадочнаго человѣка получитъ свое объясненіе, если подойдемъ къ нему съ точки зрѣнія предлагаемыхъ здѣсь понятій о б щ е ственной стоимости человѣка, стремленія къ ея осуществленію и честолюбія, какъ симптома этого стремленія.

# IV.

Начнемъ съ симптома. Честолюбіе Гоголя достаточно извъстно изъ его біографіи и засвидѣтельствовано имъ самимъ. Сюда относится, между прочимъ, слѣдующее мѣсто въ «Авторской исповѣди»: «Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ тѣ поры, когда всъ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писателѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человѣкомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра. Я думалъ, просто, что я выслужусь, и все это доставитъ служба государственная. Отъ этого страсть служить была у меня въ юности очень сильна. Она пребывала

неотлучно въ моей головѣ впереди всѣхъ моихъ дълъ и занятій...» 1). Этимъ признаніямъ нельзя не придавать большого значенія. Они вполит согласуются съ тімь, что мы знаемъ о жизни Гоголя въ Петербургъ въ началь 30-хъ годовъ, когда онъ, можно сказать, быль поглощень столь характернымъ, для русскаго человъка дъломъ — исканіемъ «мѣста» на государственной службѣ и лельяль честолюбивыя мечты. Достаточно извъстно, что необходимость матеріальнаго обезпеченія была далеко не единственною и не главною пружиною, имъ двигавшею въ этомъ случав. Равно извъстно и то, что его честолюбіе не было обыкновеннымъ честолюбіемъ маленькаго чиновника-провинціала, мечтающаго дослужиться до тепленькаго містечка съ приличнымь окладомъ и чиномъ. Еще въ 1827 г., только собираясь въ Петербургъ, 18-льтній юноша, онъ писаль Косяровскому: «Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лётъ почти непониманія, я пламенълъ неугасимою ревностью сдълать жизнь свою нужною для блага государства, я кипфлъ принести хотя малфишую пользу. Тревожныя мысли, что я не буду мочь, что мн преградять дорогу, что не дадуть возможность принесть ему малейшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакиваль на лицъ моемъ при мысли, что, можеть быть, мн доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ деломъ-быть въ мірт и не означить своего существованія — это было для меня ужасно. Я перебираль въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствъ и остановился на одномъ-на юстиціи. Я видёль, что здёсь работы будеть болёе всего, что здёсь только я могу быть благод вніемъ, здёсь только буду истипно полезенъ для человъчества. Пеправосудіе, величайшее въ свыть месчастіе, болье всего разрывало мое сердце...» и т. д.-Гоголя-юношу, стучавшагося въ двери канцелярій и департаментовъ, манила какая-то неопредълензая, ему самому неясная. мечта о какомъ-то велякомъ поприщъ, о служени отечеству,и подъ его юнымъ и наивнымъ «карьеризмомъ» скрывалось инстинктивное стремление къ тому, что я называю «осуществленіемъ общественной стоимости человіка». По условіямь времени, для этого почти не было другихъ поприять, кром в государствен-

<sup>1)</sup> Разрядка моя

ной службы. Общество еще цёликомъ было заслонено государствомъ. «Выйти въ люди» значило сдёлаться чиновникомъ. Служить отечеству значило поступить на государственную службу.

Излишне описывать тѣ разочарованія, которыя необходимо должень быль испытать здѣсь геніальный юноша, еще не уяснившій себѣ своего настоящаго призванія. Приведемь только слѣдующее мѣсто изъ письма къ матери отъ 30 апрѣля 1829 г.: «Каждая столица вообще характеризуется своимъ народомъ, набрасывающимъ на нее печать національности; на Петербургѣ же нѣтъ никакого характера: иностранцы, которые поселились сюда, обжились и вовсе не похожи на иностранцевъ; а русскіе, въ свою очередь, объиностранились и сдѣлались ни тѣмъ, ни другимъ. Тишина въ немъ необыкновенная, никакой духъ не блестить въ народѣ, все служащіе да должностные, всѣ толкують о своихъ департаментахъ да коллегіяхъ, все подавлено, все погрязло въ бездѣльныхъ ничтожныхъ трудахъ, въ которыхъ безплодно издерживается жизнь ихъ...»

Уже по этой выдержкѣ можно было предугадать, что честолюбивый юноша не осуществить своей общественной стоимости
службою въ департаментахъ и будетъ пытаться осуществить ее
гдѣ-нибудь внѣ департаментовъ. И вотъ мы видимъ Гоголя на
педагогическомъ и «ученомъ» поприщѣ — преподавателемъ въ
институтѣ благородныхъ дѣвицъ и профессоромъ университета.
Но этому повороту въ его карьерѣ частью предшествовали,
частью съ нимъ совпали другія, болѣе важныя, событія — его
выступленіе на литературное поприще, появленіе «Вечеровъ на
хуторѣ» и «Миргорода», знакомство съ Плетневымъ, Жуковскамъ и Пушкинымъ, его первые успѣхи, какъ писателя, первые
лучи восходящей славы, первое сознаніе своего великаго таланта
и своего истиннаго призванія.

И съ этого момента въ Гоголь одновременно растуть и вступаютъ въ довольно сложныя взаимоотношенія, даже въ конфликть,
«двь личности», съ двумя различными призваніями и дорогами
въ жизни. Одна — это Гоголь — великій писатель, личность съ
огромнымъ національны мъ всероссійскимъ значеніемъ;
другая — это Гоголь — носитель потенціальной и крайне настойчивой общественной стоимости и соотвътственнаго честолюбія.
Насколько быстро и успѣшно оправдывалось призваніе писателя,
настолько туго и неудачно шло дьло осуществленія общественной стоимости. Гоголю пришлось испытать тѣ душевныя муки,

которыя хорошо изв'єстны всёмъ честолюбцамъ-неудачникамъ. Литературные усп'єхи не могли заглушить ихъ. Значеніе и слава писателя были безсильны устранить неудобоносимое бремя неосуществленной общественной стоимости. И съ этой тяготой и отравой души Гоголь останется на всю жизнь—до гроба.

Какъ велика была у Гоголя потребность осуществить свою общественную стоимость, видно, между прочимъ, изъ того, что уже въ первомъ, петербургскомъ, періодь его литературной двятельности невольно проявляется у него какъ бы инстинктивное стремленіе быть не только писателемь-художникомь, но и инсателемъ-гражданиномъ, непосредственно вліять на общество. Оттуда — раннее обращение къ драматической формы, къ театру, какъ естественному проводнику этого вліянія. Повидимому, уже тогда онъ сознаваль то, что было высказано имъ гораздо позже въ стать в «О театръ» («Выбранныя мъста», статья XIV): «Театръ ничуть не безділица и вовсе не пустая вещь, если примешь въ соображение то, что въ немъ можетъ помфетиться вдругь толна изъ няти, шести тысячь человфиъ и что вся эта толпа, ни въ чемъ несходная между собою, разбирая ее по единицамъ, можеть вдругъ потрястись однимъ потрясеніемъ, зарыдать однъми слезами и засмъяться однимъ всеобщимъ смѣхомъ. Это такая каоедра, съ которой можно много сказать міру добра».

Въ этомъ-то смыслѣ, т.-е. въ смыслѣ стремленія вліять на общество, «служить» ему посредсівомъ художественнаго слова и такимъ путемъ осуществить свою общественную стоимость, вполнѣ оправдывается терминъ «писатель-гражданинъ», которымъ г. Венгеровъ озаглавилъ свои интересныя статьи о Гоголѣ («Очерки», т. І). Впослѣдствіи съ дальнъйшимъ развитіемъ художественныхъ и, вообще, душевныхъ силъ Гоголя. этотъ инстипктъ «гражданина» подскажеть ему своеобразную теорію служенія отечеству и государству на поприщѣ писателя-художника и моралиста. Въ «Авторской исповѣди» онь говоритъ: «Мнѣ захотѣлось служить 1) въ какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незамѣтной должности, но служить землѣ своей, такъ служить, какъ я хотѣль нѣкогда, и даже гораздо лучше, нежели я нѣкогда хотѣль. Я примирился и

<sup>1.</sup> Уже поста того, какъ вполна впленилось его на голщее презвание-писателя.

съ писательствомъ своимъ только тогда, когда почувствоваль, что на этомъ поприщ в могу также служить земль своей 1). Но и тогда, однакоже, я помышляль, какь только кончу большое сочинение, вступить, по примъру другихъ, въ службу и взять мъсто»... Литературная деятельность представляется здёсь какъ бы суррогатомъ настоящаго служенія «земль своей», которое отождествляется съ занятіемъ «мѣста» на государственной службъ. Какъ извъстно, это не состоялось: карьера профессора университета не удалась, и, выйдя въ отставку въ 1835 г., Гоголь потомъ ужъ не поступалъ на службу. Но былъ моментъ, именно около половины 30-хъ годовъ, когда ему казалось, что дёятельность писателя-художника могла бы явиться не суррогатомъ государственной службы, а особымъ «служеніемъ», равносильнымъ ей. Это видно изъ следующаго места той же «Авторской исповёди»: «...какъ только я почув ствоваль, что на поприщъ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросиль все: и прежнія свои должности, и Петербургь, и общество близкихъ душъ моей людей, и самую Россію, чтобы вдали и въ уединеніи отъ всехъ обсудить, какъ это сделать, чтобы доказать, что я быль также гражданинь земли своей и хотъль служить ей» 2)....

Какъ бы мы ни относились къ «Авторской исповъди» въ цѣломъ (написанной, какъ извъстно, съ цѣлью не то оправданія себя, не то разъясненія разныхъ недоразумѣній, вызванныхъ изданіемъ «Выбранныхъ мѣстъ»), приведенныя выдержки являются документомъ, подтверждающимъ взглядъ на Гоголя, какъ на «писателя—гражданина» по призванію. Иначе говоря, Гоголь не принадлежалъ къ числу тѣхъ художниковъ, которые находятъ полное удовлетвореніе въ своемъ творчествѣ, которые, если можно такъ выразиться, «духовно сыты» своими художественными созерцаніями и не ощущаютъ настоятельной потребности быть дѣятелями жизни, величиной общественной. Онъ не могъ успокоиться на сознаніи своего значенія какъ великаго напіональнаго поэта,—ему нужны были живыя—прижизненныя—связи не только съ національна-

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Разрядка моя.

нымъ, но и съ общественнымъ целымъ. Этимъ целымъ была для него вся Россія, — онъ стремился осуществить свою общественную стоимость не въ томь или иномъ классе, не въ той или другой местности, не въ определенной, боле или мене узкой, среде, а въ громадномъ объединенномъ — всероссийскомъ — целомъ, представителемъ котораго являлось государство. Выражениемъ этого стремления и были его помыслы о службе и его взглядъ на свою литературную деятельность то какъ на суррогать службы, то какъ на особый родъ «служения земле своей», равносильный «государственному».

## V.

Изучая Гоголя съ этой стороны, мы получаемъ возможность глубже проникнуть во внутренній міръ этого загадочнаго человѣка, и намъ стануть яснѣе тѣ душевныя состоянія, которыя переживалъ онъ, когда, созердая Русь изъ прекраснаго далёка, онъ созидалъ великую національную «поэму».

Психологія этого созерцанія гораздо сложнье, чьмь это кажется на первый взглядь. Не только какъ художникь, не спокойнымь зрителемь, не исключительно поэтомь-созерцателемь являлся Гоголь, когда, живя въ Римь, онъ воплощаль «Русь» въ безсмертные образы и картины «Мертвыхъ душъ». Въ непосредственной связи съ творчествомъ художника трепетали въ его душь и ть струны, въ игрь которыхъ такъ причудливо переплеталось тяготьніе великаго поэта къ своей національной стихіи съ тяготьніемь человьческой личности къ своей общественной средь. Эти двь тяги, національная и общественная, претворялись въ живыя чувства высокаго подъема и большой глубины, — въ душевныя движенія, которыя, среди искрящагося — «гоголевскаго» — смъха, проступали «незримыми», "невьдомыми міру" слезами.
Въ "Авторской исповьди", уже заднимь числомь, этотъ

Вь "Авторской исповьди", уже заднимь числомь, этоть процессь представлень такъ: "Проектъ и цьль моего путе-шествія были очень не ясны. Я зналь только, что вду вовсе не за тымь, чтобы наслаждаться чужнин краями, но скорый, чтобы натеривться, точно какъ бы предчувствоваль, что узнаю цвну Россіи только вны Россіи и добуду любовь къ ней вдали оть нея".

Эта "любовь къ Россія вдали отъ нея", любовь, которую

нужно было "добывать" за границею, только на первый, поверхностный взглядь можеть показаться въ своемъ родѣ "странною", пожалуй, чисто-разсудочною, "головною", и дать поводъвспомнить слова, сказанныя кѣмъ-то въ одномъ изъ романовъ-П. Д. Боборыкина: "Русскій человѣкъ особенно сильно любить свое отечество тогда, когда у него заграничный паспорть въ карманѣ". Нѣтъ, любовь, о которой говорить Гоголь, была настоящимъ, подлиннымъ чувствомъ, крѣпко и цѣпко державшимся въ глубинѣ души двумя корнями: тягой къ національности и той другой тягой, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость. Первая требуетъ еще нѣкоторыхъ поясненій, которыя мы дадимъ ниже (въ гл. V-ой), а вторая, достаточно ясная послѣ всего вышесказаннаго, окончательно лорисовывается

дадимъ ниже (въ гл. V-ой), а вторая, достаточно ясная послѣ всего вышесказаннаго, окончательно дорисовывается тѣми неустанными помыслами о благѣ Россіи и тѣмъ стремленіемъ найти "правильный" путь для плодотворной дѣятельности "на пользу отечества", которые такъ занимали Гоголя во второй половинѣ 40-хъ годовъ, въ эту столь знаменательную въ его жизни эпоху, когда въ его «больной» душѣ совершался рѣшительный поворотъ въ сторону моральной проповѣди, аскетизма и мистики. Разсмотрѣнію этой ральной проповѣди, аскетизма и мистики. Разсмотрѣнію этой эпохи мы посвятимъ слѣдующую главу. Здѣсь же приведемътолько одинъ документъ, относящійся къ концу ея и свидѣтельствующій о томъ, что даже въ это печальное время порабощенія великаго поэта зловѣщей власти мрачнаго фанатика, о. Матвѣя, все еще было живо у Гоголя стремленіе къ живому дѣлу, къ плодотворной работѣ "на пользу отечества". Я разумѣю проектъ докладной записки, въ которой Гоголь, прося "позволенія и даже средствъ проводить три зимніе мѣсяцы въ году въ Греціи или на островахъ Средиземнаго моря и три лѣтніе—гдѣ-нибудь внутри Россіи", срокомъ на три года, говоритъ, что это ему необходимо для окончанія "Мертвыхъ душъ", гдѣ будетъ "выставлено наружу все здоровое и крѣпкое въ нашей приролѣ", и что въ тотъ же окончанія "мертвыхъ душъ", гдъ оудеть "выставлено наружу все здоровое и крѣпкое въ нашей природѣ", и что въ тоть же срокъ онъ, кромѣ того, можеть исполнить и другой, не менѣе важный, трудъ. Дѣло идетъ о книгѣ, "за которую многіе отцы семейства скажутъ" ему "спасибо": "Намъ нужно живое, а не мертвое изображеніе Россіи, та существенная, говорящая ея географія, начертанная сильнымъ, живымъ слогомъ, которая поставила бы русскаго лицомъ къ Россіи еще въ то перво-

начальное время его жизни, когда онъ еще отдается во власть гувернеровъ-иностранцевь, но когда всв его способности сввжье, чымь когда-либо потомы, а воображение чутко и удерживаеть навъки все, что ни поражаеть его. Такую книгу (мив всегда казалось) могъ составить только писатель, который умфетъ схватывать вфрно и выставлять сильно и выпукло черты и свойства народа 1), а всякую м встность 1) (тоже) со всеми ея красками выставлять такъ живо, поставлять такъ ярко, чтобы она навсегда осталась въ глазахъ, — который, наконедъ, имълъ бы способность сосредоточить сочинение въ одно слитное цълое такъ, чтобы вся земля отъ края до края, со всею особенностью своихъ мъстностей, свойствами кряжей и груптовъ връзалась бы, какъ живая, въ память даже несовершеннолътняго отрока, и было бы ему очевидно даже и во младенчествъ, какому углу Россін что именно свойственно и прилично, и не шло бы ему потомъ въ голову, придя въ зрълый возрасть, заводить несвойственныя ей фабрики и мануфактуры, довъряя иностраннымъ промышленникамъ, заботящимся о временной собственной выгодь. И точно такимъ же образомъ, чтобы ему во младенчествъ видны были въ настоящемъ видъ качества и свойства русскаго народа, со всъмъ разнообразіемъ особенностей, какими отличаются его вътви и племена. Чтобы еще во младенчествъ ему было видно, къ чему именно каждый (sic) изъ этихъ племенъ способенъ вследствіе орудій и силь, ему данныхъ, и обращалъ бы онъ внимание потомъ, когда приведетъ его Богъ въ эреломъ возрасте сделаться государственнымъ человфкомъ, на особенности каждаго изъ нихъ, уважалъ обычаи, порожденные законами каждой м встности 1), и требоваль бы повсемъстнаго выполненія того, что хорошо одномъ углъ и дурно въ другомъ. - Книга эта составляла давно предметь моихъ размышленій. Она зръеть вмъсть съ нынъшнимъ моимъ трудомъ 2) и, можетъ быть, въ одно время съ нимъ будетъ готова. Въ успѣхѣ ея я надъюсь не столько на своп силы, сколько на любовь къ Россіи, слава Богу, безпрестанно во мив увеличивающуюся... " (Опубликовано впервые профессоромъ И. А. Линиченко въ "Русск. Мысли" 1896 г. кн.

<sup>1)</sup> Разрядка подлинника.

<sup>2)</sup> Окончаніе «Мертв. душъ».

5-ая.— "Письма Н. В. Гоголя" подъ ред. В. И. Шенрока, т. IV, стр. 344—345).

Этотъ въ высокой степени любопытный документъ говоритъ самъ за себя. Разумѣется, планъ "отчизновѣдѣнія", здѣсь набросанный, не могъ быть выполненъ въ то время ни Гоголемъ, ни кѣмъ-либо другимъ. — Но какая вѣрная мысль, какая здравая постановка вопроса, и все это въ эпоху ¹), когда Гоголь, погруженный въ помыслы о загробной жизни, казалось, былъ такъ далекъ отъ всего земного, такъ чуждъ вопросамъ времени и пониманію задачъ жизни!..

Сейчасъ увидимъ, что самый поворотъ въ сторону крайняго мистицизма совмѣщался у Гоголя съ постановкою и даже своеобразнымъ рѣшеніемъ той личной задачи, которую мы называемъ стремленіемъ осуществить свою общественную стоимость.

#### VI.

Неосуществленная общественная стоимость, сказали мы, есть бремя неудобоносимое, и когда человъкъ видитъ всю невозможность ея осуществленія, тогда неръдко его душа, именно его будничная, повседневная, прозаическая душа обывателя, наполняется горькими чувствами обиды, оскорбленнаго честолюбія, отравляется сознаніемъ, что онъ ненуженъ, что онъ лишній, и своеобразно-враждебно настраивается въ отношеніи къ данной — родной — средъ. И чъмъ ближе и дороже человъку эта среда, тъмъ болъе обостряется эта специфическая «вражда». И, смотря по человъку, цълая гамма разныхъ дополнительныхъ или производныхъ чувствъ возникаетъ на почвъ такого разлада личности съ ея общественной средой. Мы находимъ здъсь и жалкія, мелкія, но при всемъ томъ нерёдко въ самомъ деле жестокія, буднично-мелодраматическія страданія обывателя-неудачника, не сумѣвшаго стать единицею въ своемъ муравейникъ, потому, что даже и для этого муравейника онъ-«не настоящій» человъкъ; мы находимъ здъсь и приподнятыя, аффектированныя душевныя движенія «непонятых» натуръ, и болье или менье искреннюю поддълку подъ участь неоцьненнаго, осмъяннаго «дъятеля», или гонимаго «обличителя»,

<sup>1)</sup> Документь относится къ 1850-му году.

пародію на тіхть, о комъ по праву можно сказать, что они—
«не пророки въ своемъ отечестві», и настоящую трагедію
«лишнихъ людей», и наконецъ истинно-высокія страданія
гражданина, а чаще всего—тупую тоску, унылую скуку ненужнаго, безцільнаго существованія человіка, у котораго нітть
никакого другого призванія, кромі какъ быть едивицею въ
общественномъ ціломъ, и которому пришлось быть нулемъ.
Но возможенъ и иной исходъ: натуры сильныя и «пол-

Но возможень и иной исходъ: натуры сильныя и «полныя собою», съ богатымъ внутреннимъ содержаніемъ, нерѣдко, при невозможности осуществить свою общественную стоимость въ данной средѣ, при дапныхъ условіяхъ мѣста и времени, стремятся либо передѣлать эту среду по-своему, либо искусственно создать для себя новую среду, или, наконецъ, берутся за то, и за другое вмѣстъ. Это —реформаторы разнаго рода, проповѣдники-моралисты, основатели религіозныхъ и другихъ сектъ. При такомъ исходѣ тѣ чувства, на которыя мы толькочто указали, не застанваются въ душѣ человѣка и онъ быстро переходить отъ унынія, тоски, скуки, мелкой или немелкой «вражды» и т. д. къ иному порядку чувствъ. Его душа становится ареною новыхъ движеній чувствъ, страстей и мысли, движеній болѣе или менѣе творческаго, зиждительнаго характера. На этомъ пути жажда общественныхъ связей незамѣтно переходътъ въ жажду вліять на людей, подчинять умы и сердца своему нравственному авторитету, и честолюбіе, какъ чувствосимитомъ, уступаеть мѣсто властолюбію.

Такой именно оборотъ и приняли общественно-психологическія отношенія Гоголя, но только у него весь процессъ сильно осложнился, во-первыхъ, перекрестнымъ дъйствіемъ его геніальнаго художественнаго дарованія, его призванія, какъ великаго національнаго поэта, а во-вторыхъ, тою темнотою его ума, той ирраціональностью его мышленія, въ сплу которыхъ онъ не могъ правильно поставить свою лично-общественную задачу и сталъ жертвою крайняго мистицизма.

Здѣсь, въ этой главѣ, насъ интересуетъ первое, т. е. перекрестное дѣйствіе его художественнаго дарованія и соотвѣтствующаго ему призванія великаго національнаго поэта— сатирика.

Это дъйствіе выразилось въ томъ, что безсознательно, инстинктивно Гоголь, если можно такъ выразиться, «ухватился» за свое великое національное значеніе, какъ за суррогать

общественнаго значенія, -- онъ, смішавь національное съ общественнымъ, сталъ смотреть на свое дело художника, какъ на орудіе осуществленія своей общественной стоимости. Работая надъ «Мертвыми душами» и поэтически созерцая Русь изъ прекраснаго далека, онъ лелвялъ мысль, или, скорве, иллюзію, будто тъмъ самымъ онъ становится непосредственнымъ участникомъ общественной (въ обширномъ смыслѣ) жизни своего отечества, входить органическимъ звеномъ въ ту соціальную среду, которую онъ называлъ «Русью». Несомнънное-и огромное въ своихъ послъдствіяхъ-общественное значеніе его сатиры, какъ понимали это лучшіе умы времени (сперва Пушкинъ, потомъ Аксаковы, Бълинскій, Герценъ, Тургеневъ и др.), было ему самому далеко не ясно, и во всякомъ случав не на немъ онъ могъ осуществить свою общественную стоимость. Этой стороной своей дъятельности онъ пріобръль великое имя и производиль обаянія, равносильныя тёмъ, какія были удёломъ Пушкина, въ передовыхъ кругахъ, западническомъ и славянофильскомъ; но для него это было ничтожнымъ суррогатомъ, которымъ онъ весьма мало дорожилъ. Онъ хотъль чувствовать свой «соціальный вёсь» въ обширномъ цёломъ, именуемомъ Русью, онъ стремился стать единицею въ государствъ, а не въ ничтожныхъ численностью своихъ членовъ передовыхъ кружкахъ: онъ не въ силахъ былъ понять огромное значение этихъ кружковъ въ дъл создания нашего общественнаго и національнаго самосознанія, да впрочемь, если бы онъ и понималъ это, кружки мыслящихъ людей, все равно, не могли служить для него тою соціальной средой, въ которой онъ нуждался для осуществленія своей общественной стоимости. И вообще «общество» того времени (а не только передовые круги) не годилось ему для этой — личной — цёли: слишкомъ было оно ничтожно и безсильно. Только государство, которое, обнимая всю Русь, было тогда единственною авторитетною, властною, дёйствующею и живущею «соціальной средой», являлось въ его глазахъ стихіей, гдъ могъ опредълиться «удёльный вёсь» его личности. Въ передовыхъ кругахъ, какъ западническомъ, такъ и славянофильскомъ, ему было тфсно, и онъ тянулся къ государству, не замфчая, или, можетъ быть, не желая замічать, что тамь ему сиротливо, пожалуй даже совсёмъ нётъ места. Не замечаль онь этого, и ему казалось, будто онъ, какъ авторъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ»,

являясь поэтомъ національнымъ, какъ бы состоить на государственной службь, точно это казенныя торжественныя оды. II, правду сказать, своего рода торжественной одой, -- только, разумбется, не казенной, звучать знаменитыя лирическія міста въ XI-ой главъ первой части «Мертвыхъ душъ». Тамъ воспѣвается необъятный просторъ Руси («грозно объемлеть меня могучее пространство ... »), «чудная, сверкающая даль», быстрое, головокружительное движение Руси, конечно, прежде всего, какъ государства («Русь, куда жъ несешься ты?.. Летить мимо все, что ни есть на земль, и, косясь, постараниваются и дають ей дорогу другіе народы и государства»). Но изъ-за поэтическаго образа этого государства уже явно пробивалась національность, именно общерусская, — не офиціальная, а живая, подлинная, та, которая находить свсе лучшее выраженіе въ высшемъ творчествѣ. Вопросы: «Русь! чего же ты хочешь отъ меня? Какая непостижимая связь таится между нами»? и далье: «Что пророчить сей необъятный просторь? Здёсь ли, въ тебё ли, не родиться безпредельной мысли, когда ты сама безъ конца...» относятся уже не къ государству, а къ національному цілому, и въ нихъ прежде всего проявилось чувство національнаго тягот нія великаго поэта къ этому цёлому.

Мы видимъ здъсь два цълыхъ: государство и національность, но не усматриваеть третьяго — общества. За отсутствіемъ или неразличеніемъ последняго, общественная стоимость великаго поэта могла осуществиться только въ первомъ, и онъ, подставляя свое національное тягот ніе на мъсто общественнаго, лелвяль мечту встать «единицею» въ средв государственной. И чамъ больше подвигался онъ въ своемъ вдохновенномъ трудъ, тъмъ больше укръплялся онъ въ мысли, что дълаеть дъло, имъющее государственную важность, во всякомъ случат такое, которому правительство должно покровительствовать. Быть можеть, благосилонное отношение Николая Павловича къ «Ревизору» заронило въ душу Гоголя первое съмя этой горделивой идеи, которое сперва прозябало въ типи и дало плодъ позже, когда, оканчивая первую часть «Мертвыхъ душъ», поэть упрочиваль свои связи съ известнымъ кругомъ высокопоставленныхъ лицъ (Смирнова, графъ А. И. Толстой, Вьельгорскіе) и писаль имъ ть письма, изъ которыхь потомъ составилась пресловутая книга «Выбранныя міста изъ нереписки съ друзьями». Не лишне отмътить также, что въ его ходатайствахъ о пособіи, при всемъ почтительно-просительномъ тонъ, звучить увъренность, что онъ имъетъ право на поощреніе и поддержку со стороны государства 1).

И постепенно "Русь", объекть его художественнаго творчества, излюбленный предмегь его поэтическихъ созерданій, превращалась для него въ государственно-національную среду, гдъ онъ стремился стать единицею и даже дъйствующею силою, орудіемъ которой должна была служить моральная проповедь. Этимъ путемъ онъ и думалъ претворить "непостижимую связь", которая "таилась" между нимъ и Русью, въ ту вполнъ постижимую, осязательную, живую связь личности съ цълымъ, которую мы называемъ осуществленіемъ общественной стоимости человъка. Излишне пояснять, что для установленія такой связи, чтобы она не осталась чистой иллюзіей, необходимо было сперва завязать живыя, душевныя, интимныя отношенія съ болье тьснымъ кругомъ лицъ, которыя могли бы явиться посредствующимъ звеномъ между великимъ поэтомъ-моралистомъ и великимъ государственнымъ цёлымъ и стать проводниками предполагаемаго воздействія писателя на эту обширную соціальную среду. Въ твсномъ круг высокопоставленных лицъ должна была совершиться, такъ сказать, предварительная проба общественной стоимости національнаго поэта-уже не просто какъ обывателя, а какъ своеобразнаго дъятеля, гражданина и патріота. Такимъ путемъ предварительной пробы въ тъсномъ кругъ обыкновенно и идуть къ своей цели великіе реформаторы, основывающіе секты и поднимающіе великія движенія, которымъ суждено развернуться въ обширной, государственной или національной, средь. Тымь же путемь направляются и ты, которые только мнять себя реформаторами и выступають съ идеями, несогласуемыми съ задачами общественнаго прогресса. Ихъ дъятель-

<sup>1)</sup> Напр., въ письмъ къ гр. С. С. Уварову (1840 г.): "Почему знать, можетъ быть, несмотря на мой трудовой и тернистый путь, суждено бъдному имени моему достигнуть потомства. И ужели вамъ будетъ пріятно, когда правосудное потомство, отдавъ вамъ должное за ваши прекрасные подвиги для наукъ, скажетъ, въ то же время, что вы были равнодушны къ созданіямъ русскаго слова и не тронулись положеніемъ бъднаго, обремененнаго болъзнями писателя, не могли бы быть его заступникомъ и меценатомъ..." и т. д.

ность, по необходимости, будеть только пародією на д'вятельность настоящихъ реформаторовъ. Нашему великому поэту и пришлось разыграть такую пародію...

Дальше "предварительной пробы" онъ не пошелъ и не могъ пойти. Производилась же она въ кружкъ морально и религіозно настроенныхъ лицъ, — Вьельгорскихъ, Толстыхъ, Смирновыхъ и др., гдв его проповъдь, его мысли и наставленія встрічали созвучный откликъ, гді устанавливались живыя связи взаимнаго пониманія и сочувствія. Здѣсь впервые Гоголь почувствоваль себя величиною общественною", а такъ какъ члены кружка были особы высокопоставленныя, которымъ, казалось, открывалась полная возможность, путемъ государственной службы, действовать на широкомъ соціальномъ поприщъ, именуемомъ Русью, то сама собою навязывалась великому поэту пллюзія—стать, черезъ посредство даннаго интимнаго кружка, великою дёйствующею силою на Руси. вліять на ходъ вещей, искоренять неправду, чуть ли не совершить чудо превращенія Чичиковыхъ, Собакевичей, Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ и пр. — въ людей добра и правды... Эта иллюзія въ свою очередь вліяла на дальнійшее развитіе замысла "Мертвыхъ душъ", и въ перспективъ уже возникали фантастическіе образы-кающагося Чичикова, нравственно преображеннаго Плюшкина, пожалуй, даже душевно-изящнаго Собакевича... Уже созидались "положительные" типы въ родъ пресловутаго Констанжогло и откупщика Муразова... Неудивительно, что поэтъ два раза жегъ свои рукописи.

Въ эти тяжелые—не для одного Гоголя—годы (вторая половина 40-хъ и начало 50-хъ), внутренній міръ великаго художника являлъ слѣдующую "картину" своего рода "болѣзни сознанія": пристально и напряженно всматривается онъ въ свою собственную душу, онъ "полонъ собою" и чутко слѣдитъ за ходомъ своего "душевнаго дѣла", и вмѣстѣ съ тѣмъ столь же напряженно и пристально созерцаеть онъ Россію, но уже не столько въ качествѣ художника, сколько въ качествѣ своеобразнаго гражданина-моралиста, и пишетъ о томъ, какъ "нужно любить Россію", о томъ, что "нужно проѣздиться по Россіи", о благотворной дѣятельности лицъ высокопоставленныхъ, направленной на улучшеніе нравовъ, на искорененіе разныхъ беззаконій, объ обязанностяхъ помѣщика, о томъ, "что такое губернаторша"... Извѣстная книга ("Выбранныя мѣста"), гдѣ

все это изложено, явилась печальнымъ памятникомъ этого періода жизни великаго поэта... И даже теперь, когда мы можемъ спокойно и объективно судить о ней, мы все еще, перечитывая ее, невольно вспоминаемъ ставшія классическими слова Базарова: "Я сегодня прескверно себя чувствую, точно начитался писемъ Гоголя къ калужской губернаторшъ". Но въ оправдание Гоголя, кром'й всего вышесказаннаго, можно еще отм'етить его полную искренность: ни въ какомъ смыслѣ здѣсь онъ не лгалъ, притворялся и въ самомъ дълъ такъ думаль, такъ върилъ, такъ понималъ вещи, какъ книгѣ 1).

Изданіемъ этой книги опъ думалъ сдёлать рёшительный шагъ впередъ въ своихъ стремленіяхъ осуществить свою общественную стоимость. И конечно, ни на шагъ не подвинулся дальше... Ею онъ выходилъ изъ тёснаго, интимнаго круга, гдё уже была сдёлана "предварительная проба", и очутился въ непріютномъ, "грозно-объемлющемъ" пространствё, на "снёгомъ занесенной станціи", и съ потрясающимъ разочарованіемъ, почти съ отчаяніемъ долженъ былъ убёдиться въ неизбёжномъ крушеніи своихъ замысловъ и въ непригодности, въ недёйствительности своей моральной проповёди.

Темъ не мене, эта проповедь остается по-своему важнымъ фактомъ, какъ въ исихологіи самого Гоголя, такъ и въ историческомъ движеніи русской литературы. Къ разсмотренію этой стороны дела, къ изученію Гоголя-моралиста, мы и должны обратиться теперь.

<sup>1)</sup> Окончательное выяснение пскренности Гоголя въ данномъ случав составляеть одну изъ многихъ заслугъ Шенрока (см. преимущественно въ IV-мъ томв "Матеріаловъ").

### ГЛАВА ІУ.

# «Душевное дъло». — Гоголь — моралистъ и мистикъ.

I.

Нравственное присуще (имманентно) художественному, ибо искусство есть процессь познанія человѣка и человѣчности, а нравственное—по препмуществу и специфически человѣчно. Въ каждомъ сколько-нибудь значительномъ созданіи искусства уже дана, въ большинствѣ случаевъ непреднамѣренно и наивно, та или иная проблемма этики. Одна изъ важнѣйшихъ творческихъ силъ искусства, симпатическое воображеніе, служить вмѣстѣ съ тѣмъ и основаніемъ правственныхъ отношеній человѣка къ человѣку.

Но отъ этой этики, присущей искусству, нужно отличать тѣ, такъ сказать, нарочитыя моральныя стремленія, которыя мы видимъ у пѣкоторыхъ художниковъ проявляющимися виѣ ихъ творчества или же, хотя и вмѣстѣ съ творчествомъ, но такъ, что мы ясно различаемъ въ нихъ художника съ одной стороны

и моралиста — съ другой.

У насъ въ творчествѣ Пушкина, Тургенева. Гончарова и друг. мы имѣемъ этику, присущую искусству, но при всей важности и глубинѣ правственныхъ проблеммъ. данныхъ въ ихъ произведеніяхъ, никому и въ голову не придетъ говорить объ этихъ поэтахъ, какъ о моралистахъ въ тѣсномъ смыслѣ. Но зато наприм., у Достоевскаго, у Льва Толстого моралистъ-проповѣдникъ явственно виденъ, во-первыхъ, въ самомъ художникѣ, а кромѣ того, выступаетъ и самостоятельно, въ ихъ нехудожественныхъ, "прозаическихъ" про-изведеніяхъ.

Къ этому-то типу принадлежить и Гоголь. Онъ быль у насъ первымъ по времени представителемъ морализующаго

направленія въ искусств и своеобразной — морализирующей — публицистики.

И прежде всего въ этой сторонъ его дъятельности бросается въ глаза одна, повидимому, характерная для насъ, русскихъ, черта, — та самая, которая какъ нельзя лучше обозначается имъ же придуманнымъ терминомъ: "свое душевное дъло". Въ самомъ дълъ, наши художники-моралисты, выступая съ нравственною проповъдью, прежде всего и въ сущности заняты "своимъ душевнымъ дъломъ", раскрываютъ намъ свой внутренній міръ, "каются", стремятся къ самовоспитанію, — однимъ словомъ, ставятъ и преслъдуютъ свою личную нравственную задачу. Оттуда столь характерныя для нихъ признанія, "исповъди", критика своей жизни и дъятельности, иногда отрицаніе этой послъдней, исканіе новаго пути и новыхъ нравственныхъ истинъ и т. д.

Это, можно сказать, особая "школа" или особое—и очень важное—теченіе въ нашей художественной литературь, зачинателемь котораго быль Гоголь. Въ ряду представителей "школы", посль Гоголя, мы находимъ великія имена—Достоевскаго, Гльба Успенскаго, Льва Толстого.

Эти писатели, подобно Гоголю, выступили въ литературѣ со "своимъ душевнымъ дѣломъ". Ихъ характерная черта, которою они, объединяясь, отличаются отъ другихъ дѣятелей нашего искусства (Пушкинъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Писемскій и друг.), состоитъ въ томъ, что, кромѣ обязательныхъ для всякаго художника "мукъ слова", они въ своемъ творчествъ (да и внѣ его) переживаютъ еще—для художника вовсе необязательныя—,,муки совѣсти" 1).

Человъкъ можетъ испытывать муки совъсти какъ потому, что онъ—большой гръшникъ, такъ и потому, что онъ—большой праведникъ, а чаще всего оттого, что его совъсть есть аппаратъ, въ достаточной степени чувствительный, чутко отзывающійся на всъ воздъйствія, способныя оскорбить нравственное чувство, откуда бы они ни шли: отъ самаго ли субъекта, или отъ другихъ людей, отъ окружающей среды. Но обязательныя въ личной жизни, въ живой дъятельности души,

<sup>1)</sup> О "мукахъ слова", какъ необходимомъ элементв или спутникъ творчества, трамтуетъ превосходная, глубокая по мысли и блестящая по формъ статья А.Г.Горифельда "Муни слова" въ "Сборн. Рус Богатства" 1899 г. (потомъ переиздана "Свъточемъ").

эти муки совести вовсе не облательны въ искусства, въ художествечномъ творчествъ. Инкто не откажеть, напримуръ. Иушкиву или Тургеневу въ дара топко-развитаго яравственнаго чувства, въ чуткомъ аппарать совести, но гда же у инхъ следы мукъ совести-какъ элемента или какъ одной изъ пружинъ творчества? Весьмя возможно, что амотновороди азивния изум кынаниу кдой отоге ахин у творчества, но вы самомы процесст его onl не разгорались, а потухаля. Пакъ человъкъ, какъ правственная личность, кудожникъ этого тина можетъ испытывать острую душевную боль, настоящую скорбь души отъ сознанія своихъ и чужихъ песовершенствъ, а всего чаще при виду всяческихъ неправдъ, безобразій, пошлостя въ скружающей средь. Къ ръдкимъ внечат. г. по вет по примешивается доля горечи, недовольства. стыда за себя, за другихъ, -- и у натурь съ тонкою и сложною душевною организаціей, каковы художники, опыть жизни редко обходится безъ томленія правственнаго "я" человіка, безъ-порою сстрой, порою глухоновщей-боли души. Этк тяростыя стоиндо у стугом кінкотого кынвешуд кынтооткт больше места въ жизни, у другого меньше; у одного и того же сублекта они могуть изменяться съ годами въ ту или другую сторону. Но каково бы ни было значене этой тяготы душевной въ личной интимной жизни человата, она легко можетъ быть сията съ души въ процессф высшей умственной длятельности вообще, въ художественномъ творчест в въ частности. Повилимому, въ большинствъ случаевъ такъ и бываеть. Высшая работа мысли ученаго, философа, художника озинцаеть душу оть всякой навили жизии... Оттула извъстный взеляль на искусство. какъ на діятельность, которая умпротворяеть душу. Въ процессь творчества происходить собирание души, раздробляемой новседневного психического жизныю, сосредоточение, объединение думенныхъ силт, и поудпрительно, что тугь исчеслеть всякій внутренній разладь, въ томъ числь и тоть, которык связань сь "муками совьсти". И художинкъ, какимъ бы "мученикомъ совъсти" онь ни быль въ своей личной жизни, порестаеть мучиться, когда творить, котя бы объектомь его творчества и были эти самыя муки. Мы учиветь это по его прои педенізмъ, въ которыхъ мы не усматриваемъ привидковъ внутренияго томленія, душевной трекоги, судорожных і порывовь, по :ній, —всего, чьмь характеризуется творящая мысть, когда опе

внутренно не свободна, а такъ или иначе связана вѣчно бодретвующими муками совѣсти или отравлена ядомъ внутренняго разлада, нравственныхъ укоровъ, душевныхъ недоумѣній, томленія нравственнаго чувства.

Воть именно такую картину связаннаго творчества, — картину отравленной мысли и являеть намъ художественная (и нехудожественная) дѣятельность тѣхъ писателей, которыхъ мы называемъ "художник ами-моралистами и исповѣдниками". Суть дѣла здѣсь не въ томъ собственно, что они ставять правственныя задачи и отъ искусства переходять къ моральной проповѣди—суть дѣла здѣсь въ томъ, что у нихъ само художественное творчество не обладаетъ полнотою "внутренней свободы", что на ихъ художественныхъ созданіяхъ, какъ бы они ни были совершенны, и вообще на ихъ умственной дѣятельности лежить отпечатокъ внутренней тревоги и, съ большею или меньшею ясностью, видны слѣды ихъ личнаго "душевнаго дѣла".

Возьмемь Толстого; уже въ первыхъ его произведеніяхъ (въ «Дітстві», «Отрочестві», «Юности», «Казакахь») ясно чувствуется, что художникъ занятъ какимъ-то своимъ-интимнымъ, строго-личнымъ-вопросомъ и что этотъ вопросъ есть задача нравственная; видно также и то, что художникъ еще не рышиль ея, что она продолжаеть, если не мучить, то вообще занимать его: онъ все ходитъ вокругъ да около недоумфній своего правственнаго сознанія. Это отнюдь не мішаеть созданнымъ образамъ и картинамъ быть истинно-художественными. Но когда онъ отъ поэзіи образовъ перейдеть къ прозаическому мышленію, тогда «внутренняя тревога» номішаеть его мыслямъ, какъ бы онъ ни были значительны и даже порою геніальны, быть истинно-философскими. Очевидно, въ противоположность наукв и философіи, искусство не боится «мукъ совъсти» и всякой душевной боли, не терпить ущерба отъ недоумъній и противорьчій нравственнаго сознанія. Съ особливой нагилдностью обнаруживается это въ «Войнъ и Миръ» и «Аннѣ Карениной», гдв огромная высота художественнаго творчества такъ причудливо совмъщается съ тою его «несвободою», о которой мы говоримъ. Вопросы личнаго правственнаго сознанія продолжають занимать и тревожить художника, выражансь въ исихологія князя Андрея и Пьера Безухова,

въ оцънкъ событій, въ освъщеніи фигуръ Кутузова и Наполеона, въ созданіи Каратаева, въ своеобразной «философіи исторіи», далъе (въ «Аннъ Карениной») въ изображеніи идей и настроеній Левина, въ нравственной оцънкъ другихъ линъ и т. д.

Какъ бы мы ни судили о художественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ произведеній Достоевскаго, не подлежитъ сомивнію его огромное творческое дарованіе въ предвлахъ изображенія извъстныхъ сторонъ души человъческой. Въ своей области онъ, можно сказать, не имъетъ соперниковъ. Но вмъстъ съ тъмъ очевидно, что его творчество было далеко не свободно,—оно было сковано вопросами и муками его личнаго нравственнаго сознанія, откуда возникала и своеобразная моральная проновъдь-публицистика, особливо ярко выразпвшаяся въ «Дневникъ писателя».

Въ лицъ Глѣба Успенскаго мы имѣемъ первостепеннаго художника, который въ своемъ творчествѣ не могъ п шагу ступить безъ того, чтобы не поднять того или иного вопроса своей личной совѣсти, необычайная чуткость которой достаточно извѣстна. В. Г. Короленко въ высоко-художественномъ очеркѣ («Воспоминанія о Г. И. Успенскомъ», «Русск. Бог.» 1902 г., кн. 5) съ изумительною ясностью раскрыль намъ тайну этой прекрасной души, — души мученика за чужіз грѣхи, и показалъ, какъ фактически тѣсно связывалось художественное творчество Успенскаго съ муками его совѣсти, чистой, какъ кристаллъ, съ великою скорбью его сердна и мысли. «Публицистика» Успенскаго была въ существѣ дѣла «моральною проповѣдью», вышедшею изъ глубины его творчества. какъ «Дневникъ писателя» выдѣлился изъ творчества Достоевскаго, какъ морально-религіозная доктрина Толстого развилась изъ этики его художественныхъ созерцаній.

# II.

Если взять чисто-художественныя произведенія Гоголя (собственно «Ревизора» и «Мертвыя души») и сопоставить ихъ съ таковыми же произведеніями другихъ нашихъ художниковь-моралистовъ, то прежде всего бросится въ глаза слыдующая особенность Гоголя: у него моралисть заслоненъ сатирикомъ, и не будь въ нашемъ распоряженть

«Авторской исповёди», «Выбранныхъ мёсть» и огромнаго матеріала писемъ, мы едва ли и догадались бы, что, создаван Хлестакова, Чичикова, Манилова, Ноздрева и такъ дал., великій поэть задавался вопросами своего нравственнаго сознанія и преслёдоваль какія-то моральныя задачи.

Теперь мы знаемъ, что Гоголь довольно рано сталъ задумываться надъ вопросами своего нравственнаго развитія, и уже не можемъ сомнѣваться въ справедливости его признанія, что, выставляя на всеобщее посмъяніе разныя «мерзостп» или «гадости», онъ стремился самъ избавляться отъ нихъ, что онъ исправляль самого себя 1). Это подтверждается между прочимь созданіемъ фигуры Хлестакова. Какъ было уже упомянуто, въ характеръ Гоголя были черты въ своемъ родъ «хлестаковскія». При извъстной вдумчивости Гоголя, при его въчномъ стремленій вникать въ свой внутренній міръ, замысель Хлестакова необходимо долженъ былъ сопровождаться постановкою соотвътственной лично-нравственной задачи. Создавъ образъ Хлестакова, Гоголь лучше созналь ту долю или тоть родь хлестаковщины, который быль у него самого и несомивнио сділаль шагь впередь въ діль нравственнаго самосознанія и самовоспитанія.

Но туть же проявилась и другая сторона творчества великаго поэта, въ высокой 'степени важная для повиманія его, какъ художника-моралиста, заслоненнаго сатирикомъ. Это именно тотъ фактъ, что Хлестаковъ вышель типомъ національнымъ: въ этомъ образѣ дана злая критика пзв встных в черть нашей русской національной психики. То же самое нужно сказать и о большинствъ другихъ типовъ, созданныхъ Гоголемъ. Изъ его писемъ и признаній (наприм., въ «Авторской исповади») достаточно извастно, что всего болве интересовался онъ, какъ художинкъ, національной исихологіей русскаго человіка. Большой мастерь улавливать различныя черты нашей русской, національной складки и повадки, онъ почти непроизвольно превращалъ свои бытовые типы въ національные. А такъ какъ эти бытовые типы (чиновниковъ, помъщиковъ и пр.) были продуктомъ не чистаго наблюденія, а художественнаго эксперимента, въ которомъ

<sup>4)</sup> Отпосящіяся сюда цитаты изъ «Выбранныхъ мѣстъ» см. въ 1-ой главѣ этой кинги.

стущались и выступали наружу черты отрицательныя (экспериментаторъ быль моралистъ-сатирикъ), то и національные признаки получили въ этихъ образахъ характеръ отрицательныхъ качествъ, недостатковъ, даже пороковъ. И въ результать вышло не только изображение отринательных сторонь русской действительности въ данную эпоху, но вместе съ темъ получилась картина искривленія паціональной физіономіи, геніальная художественная картина, на которой русская національная исихика представлена со стороны всего пошлаго, мелочного, нравственнонесостоятельнаго, что наблюдается въ русскомъ человъкъ и, въ существъ дъла, принадлежить не ей, а ему. Такимъ образомъ лганье Хлестакова, грубость Собакевича, слащавость Манилова и т. д. получили отпечатокъ особаго - русскаго - лганья, специфически-русской грубости, слащавости и т. д. Но въ ряду этихъ безсмертныхъ фигуръ по преимуществу національными должны быть признаны Хлестаковъ, Чичпковъ, Ноздревъ, Сквозипкъ-Дмухановскій, Тентетниковъ, генераль Бетрищевъ. Пътухъ, о которыхъ съ полнымъ правомъ можно сказать: «Здесь русскій духь, здёсь Русью пахнеть»... II. въ нравственномъ смысль, вовсе не такъ скверно нахнетъ. какъ кажется съ перваго взгляда. Дело въ следующемъ: національныя черты—не качества (хорошія или дурныя), а свойства, въ этическомъ отношении безразличныя 1), но художникъэкспериментаторъ, въ интересахъ художественнаго познанія, имветь право дать имъ такую обработку и такое освъщение, что онв явятся уже не безразличными свойствами, а опредвленными качествами, подлежащами нравственной оценке. Люди, одержимые національнымъ самомнічніемъ и шовинизмомъ, всегда склонны въ подобныхъ случаяхъ обвинять художника во лжи и клеветь. Излишне опровергать ихъ, -достаточно замътить, что это - «ложь и клевета» микроскопа, который показываеть въ чудовищно-увеличенномъ видь то, что въ дъйствительности существуеть вы микроскопически-маломъ видь. Но нелишие указать на то, что и сама жизнь спорадически производить своего рода «эксперименты», аналогичные художественнымъ: она создаеть типичные экземиляры съ искривленной національной фи-

<sup>&#</sup>x27;) Я неоднократно высказываль эту мысль, см., наприм.. въ книгѣ "Л. Н. Толстой какъ художникъ" (т. Ш настоящаго изданія) и въ учебникѣ "Теорія поэзій и прозм".

віономіей. Такъ, Хлестаковы, Собакевичи, Маниловы, Чичиковы, Ноздревы и т. д. существовали и существують, не столь «художественные», какъ у Гоголя, но во всякомъ случав не уступающіе имъ въ «уродствѣ», въ искривленіи національной физіономіи. Одна изъ великихъ заслугъ экспериментальнаго искусства въ томъ и состоитъ, что оно показываетъ, какъ и при какихъ условіяхъ происходитъ въ дѣйствительности обезображеніе національной психики, какъ совершается превращеніе безразличныхъ въ нравственномъ отношеніи національныхъ чертъ въ качества, подлежащія этическому суду и осужденію. Понятно огромное значеніе такихъ художественныхъ экспериментовъ для развитія національнаго самосознанія.

При этомъ необходимо отмътить слъдующее, Національное самосознание осуществляется не иначе, какъ путемъ преувеличенія національныхъ чертъ. Это преувеличение бываеть двоякое: либо національныя черты представляются въ видъ какихъ-то якобы добродътелей или вообще положительных качествъ, либо въ видъ якобы пороковъ или вообще качествъ отрицательныхъ. Первый путь-опасенъ: онъ ведеть къ гръху шовинизма, національнаго самомнінія. Второй путь, напротивъ, ведетъ къ самокритикъ, просвътляетъ и облагораживаетъ національное чувство, предупреждаетъ возможность извращенія національных черть и внушаеть глубоко в рную мысль о томъ, что для правильнаго развитія національной формы, для ея усовершенствованія необходимо сперва выйти на широкую, торную дорогу общественнаго и умственнаго прогресса. Самая богатая, наилучше одаренная національная исихика можеть развратиться и разміняться на пустяки при отсутствіи здоровой общественности, при господствъ такихъ пагубныхъ началъ, какимъ быле кръпостное право, при пустотъ и ношлости жизни и «пугающемъ отсутствіи свыта» 1). Гоголь чувствоваль и по-своему понималь это, но онъ не могъ возвыситься до критики общественнаго строя того времени, не могъ уяснить себт все безобразіе кртпостного права и несостоятельность дореформенныхъ порядковъ: ири свойственной ему темнотъ ума онъ не имълъ въ своемъ распоряженій ни выработанных политических понятій, ни сколько нибудь удовлетворительнаго критерія для оцінки формъ об-

<sup>1)</sup> Выраженіе Гоголя, см. въ І-й главь.

щественности. Но зато онъ отлично виделъ порчу («испривленіе») національной психики, -онъ видыть, онъ живо чувствоваль эту порчу-какъ моралистъ по натурф. Его правственное чувство оскорблялось не прямо безобразіемъ строя жизни, а душевными уродствами русскихъ людей; ему казалось, будто эти уродства вообще присущи русскому человьку, какъ таковому, т. е. онъ возводиль ихъ на степень русскихъ національных в презнаковъ. И его геніальная сатира являлась, въ его глазахъ, не могучимъ орудіемъ развитія общественнаго самосознанія, а только какъ бы исповеданіемъ національныхь граховь и призывомь къ покаянию, къ вравственному исправленію. Въ этомъ отношеній весьма характерно для Гоголя одно изъ слабійшихъ его произведеній-«Развязка Ревизора», гдь дано аллегорическое толкованіе великой комедія, при чемь говорится, будто подъ городомъ, гдв происходить двиствіе, слвдуеть понимать «душевный городь», подъ фигурами чиновииковъ — человъческія страсти, а Хлестаковъ — это «в'ятреная свътская совъсть, продажная, обманчивая совъсть, въ то время какъ настоящая, неляцепріятная сов'єсть челов'я символизируется настоящимъ ревизоромъ, о прибыти котораго возвъщается въ концѣ комедін 1). Подобныя же мерально-аллегорическія то жованія даваль Гоголь и «Мертвымь душамь».

Здысь воочію обнаружился и заговориль своимы языкомы моралисть, раньше остававшійся вы тыни и говоризшій языкомы художника-сатирика.

Но еще ярче и полиће выступаеть этоть моралистъ, вифств съ занимающимъ его «душевнымъ дѣломъ» и съ его широкими планами художественной дѣятельности, направленной на служеніе нравственнымъ цѣламъ, въ различныхъ мѣстахъ писемъ, въ родѣ, наприм. слѣдующихъ: "Я рфинлся собратъ (въ «Ревизорѣ») все дурное, какое только я зналъ, и за одинмъ разомъ надъ всѣмъ посмѣяться—вотъ все происхожденіе «Ревизора»! Это было мое нервое произведеніе, замышленное съ пѣлью произвести доброе вліяніе на общество, что, впрочемъ, не удалось... Представленіе «Ревизора» произвело на меня тягостное впечатлѣніе. Я былъ сердитъ и на зрителей, меня не понявшихъ, и на себя самого, бывшаго виной тому, что меня

<sup>1)</sup> См. несь заключительный монологь "пермаго комическаго актера", а также "Дополненіе вь развизкь Ренизора".

не поняли. Мыв хотвлось убъжать оть всего. Душа требовала уединенія и обдуманія строжайшаго своего діла. Уже давна занимала меня мысль большого сочиненія 1), въ которомъ бы предстало все, что ни есть и хорошаго, и дурного въ русскомъ человъкъ, и обнаружилось бы передъ нами виднъй сво йство 2) нашей русской природы»... Это быль замысель «Мертвыхъ душъ». Далве говорятся о томъ, что «планъ цвлаго пикакт не могь выясниться и опредълиться», и что ему пришлось учиться «у велисихъ мастеровъ постройкъ большихъ твореній», - и онъ принялся за нахъ, начиная съ Гомера. «Съ большими усиліями, -продолжаеть онь, -удалось мив кое какъ выпустить въ свъть первию часть "Мертвыхъ душъ", какъ бы затымь, чтобы увидыть вы ней, какъ я быль еще далекь оть того, къ чему стремился. Послъ этого нашло на меня вновь безблагодатное состояніе... Я думаль, что способность писать просто отнялась отъ меня»... Но туть постигли его «белъзни и тяжкія душевныя состоянія», подъ вліжніемъ которыхъ онъ обратился къ тому, къ чему и «прежде, чемъ сделаться писателемь, имель охоту, - къ наблюдению внутрениему надъ человъкомъ и надъ душой человъческой» 2).

Безъ всякаго сомнинія, туть різть идеть не о тіхть наблюденіяхь, которыя производять всё художники, а о техь, какія свойственны только художинкамь-моралистамь. Это была задача «своего душевнаго дѣла», -здѣсь подымались вопросы правственнаго самовосинтанія. «О, какъ глубже передъ тобой раскрывается это познаніе (души человіческой), когда начнешь діло съ собственной своей души!" читаемъ дальше. У Гоголя эта постановка личной правственной задачи сопровождалась оживленіемь его религіознаго чувства, -- поэть впадаль въ религіозный экстазь и мистицизмъ. «На этомъ пути», - продолжаеть онъ, — поневоль встратишься ближе 3) съ Тъмъ, Который одинъ изъ вскур, досель бывшихъ на земль, показаль въ Себъ полное познаніе души человіческой ... Выраженіемъ этихъ морально-религіозныхъ настросній и идей и явились «Выбранныя мвста изъ переписки съ друзьями:. Неуспъхъ этой книги показалъ Гоголю, что «не его дъто поучать проповъдью». "Искус-

<sup>&#</sup>x27;) Разрядка моя.
<sup>2</sup>) Разрядка Гоголя.
<sup>3</sup>) Разрядка Гоголя.

ство, — говорить онъ, — ≈и безъ того уже поучение 1). Мое діло говорить живыми образами, а не разсужденіями. Я долженъ выставить жизнь лицомъ, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. И о вопросъ: могъ ли бы я безъ этого большого крюка сдёлаться достойнымъ произведителемъ искусства? могъ ли я выставить жизнь въея глубиив такъ, чтобы она пошла въ поученіе?» 2).

Такими попродами не задаются тв художники, которые ограничиваются этикой, присущей искусству, и не преслыдують особливыхъ моральныхъ цвлей. Имъ чуждъ поэтому и тоть узко-моралистическій, дидачтическій взглядь на искусство, который высказываеть Гоголь въ слёдующемъ месть того же письма:

«Искусство есть водворение въ душу стройности и порядка, а не смущенія и разстройства. Искусство должно пзобразить намь такимь образомь людей земля нашей, чтобы каждый изь насъ ночувствоваль, что это живые люди 3). созданные и взятые изь того же тёла, изь котораго и мы. Искусство должно выставить намъ на видъ всѣ доблестныя народныя 4) паша качества, не выключая даже тёхъ, которыя, не имбя простора свободно развиться, не всёми замёчены п оценены такъ верно, чтобы каждый полувствоваль ихъ и въ себъ самомъ и загорълся бы желаніемь развить и возлелвать вы себв самомы то, что имъ заброшено и позабыто. Испусство должно выставить намъ вст дурныя наши народныя 5) начества и свойства такимъ образомъ, чтобы следы ихъ каждый изь нась отыскаль прежде въ себъ самомъ и подумаль бы о томъ, какъ прежде съ самого себя сбросить все, омрачающее благородство пряроды нашей. Тогда только, и такимъ образомъ дъйствуя, искусство исполнять свое назначеніе и внесеть порядокъ и стройность вь общество» 6).

изъ переписки съ друзьями".

<sup>1)</sup> Разрядка моя. 2) Разрядка моя.

в) Разрядка Гоголя.

у Пародныя"—въ смыслѣ "національныя". Курсивъ Гоголя.
5 Олять "народныя" въ значеніи "національныя".
6 Всѣ эти выдержки взяты изъ извъстнаго письма къ Жуковскому (1848, геня. 10), присоединеннаго къ "Выбраннымъ мъстамъ 1847, декаб. 20),

#### III.

Едва ли возможно возстановить полную психологическую картину «душевнаго дѣла» Гоголя и того «самовоспитанія», о которомъ опъ такъ часто говоритъ въ своихъ письмахъ. Но мы, кажется, не ошибемся, если скажемъ, что въ основаніи «душевнаго дѣла» лежало преувеличенное, ипохондрическое представленіе о своихъ недостаткахъ, даже «грѣхахъ», большею частью воображаемыхъ. Самовоспитаніе же, сколько извѣстно, сводилось къ самоанализу, углубленію въ себя, покаянію, молитвамъ, религіознымъ упражненіямъ разнаго рода, чтенію душеспасительныхъ книгъ. Но все это получитъ надлежащее освѣщеніе только въ томъ случаѣ, если мы не будемъ упускать изъ виду того, что Гоголь былъ натура не только глубоко-религіозная, но и мистическая.

Онъ принадлежалъ къ тому типу вѣрующихъ, которымъ, чѣмъ они больше вѣруютъ, тѣмъ недостаточнѣе кажется ихъ вѣра. Это—религіозность мнительная и тревожная; ея отличительныя черты — жажда знаменій и чудесъ, стремленіе къ непосредственному общенію съ Божествомъ, постоянные переходы отъ смиренія и самоуничиженія человѣка къ гордому и счастливому сознанію, что Божество открывается ему, печется о немъ и тапиственно ведетъ его куда-то, посылая испытанія, болѣзни, разнаго рода указанія... И человѣкъ сосредоточивается на постоянномъ, напряженномъ истолкованіи себѣ самому смысла этихъ указаній свыше...

Случится ли съ нимъ какая-нибудь бѣда, неудача, болѣзнь, — онъ уже задумывается, ломаетъ голову и старается понять, что именно хотѣло сказать этимъ Божество. Его сны становятся вѣщими, — вся жизнь его обставляется таинственными символами, его умъ безсильно бьется надъ мудреною казуистикой толкованія этихъ символовъ. А если къ этой, отчасти горделивой и всегда утѣшительной, вѣрѣ въ непосредственное вмѣшательство Божества въ личиую жизнь человѣка мы присоединимъ еще и другую, уничижительную и устрашающую, вѣру въ «нечистую силу». въ дьявола, который то и дѣло подстерегаетъ человѣка и изыскиваетъ всяческія средства овладѣть его душой, то и получимъ печальную картину крайняго мноологическаго мистицизма, образчикъ котораго мы видимъ у Гоголя. Чтобы лучше охарактеризовать этоть миоологически-суевърный родъ мистицизма, приведемъ насколько выдержекъ изъ инсемъ Гоголя.

Онъ върилъ въ предчувствія и, мало того, готовъ былъ видѣть въ нихъ данный ему свыше «даръ пророчества». Указанія на это мы находимъ въ его перепискъ еще задолго до окончательнаго поворота въ сторону крайняго мистинизма. Такъ, въ письмъ къ овдовъвшему Илетневу отъ 27 сент. 1839 г. онъ говоритъ: «Вы лишились вашей доброй и милой супруги, столько лътъ шедшей объ руку вашу... Знаете ли, я предчувствовалъ это и, когда я прощался съ вами, миѣ что-то смутно говорило, что я увижу васъ въ другой разъ уже вдовцомъ. Еще одно предчувствіе, но оно еще не исполнилось, но исполнится, потому что предчувствія мои върны, и я не знаю, отъ чего во миѣ поселился теперь даръ пророчества»...

Истолкователемъ указаній, идущихъ свыше, глашатаемъ воли Божьей является Гоголь сперва и чаще всего въ письмахъ къ матери, и можно утверждать положительно, что это отнюдь не была у него только манера выражаться примѣнительно къ умственному уровню и простой вѣрѣ матери. Нѣтъ, въ данномъ случаѣ Гоголь вѣрилъ больше и крѣпче, чѣмъ вѣрять люди обычно-религіозные. Въ письмѣ къ матери отъ 25 янв. 1840 г. онъ говоритъ по поводу затруднительнаго матеріальнаго положенія его семьи: «Намъ грозитъ крайпость. Это значитъ— насъ Богъ вызываетъ на битву. Онъ хочетъ поглядѣть на насъ, какъ мы пройдемъ по этому пути и справедливо ли то, что мы говорили до сихъ поръ, будто мы вѣруемъ въ Него и на Него возлагаемъ надежду». Такихъ мѣстъ можно привести десятки.

Съ годами все очевиднъе становилось ему нарочитое вмъшательство Божества въ его личную жизнъ и судьбу. Такъ, въ черновомъ наброскъ письма къ Раевской, относящемся къ 1840 году, онъ говоритъ, что его ностигла опасная болъзнь, отъ которой врачи не могли исцълить его, и «одна только чудная воля Бога воскресила» его. «Это чудное мое исцъленіе», продолжаетъ онъ,— «наполняетъ душу мою утъщеніемъ несказаннымъ: стало быть, жизнь моя еще нужна и не будеть безполезна».—Въ письмъ къ Аксакову отъ 28 дек. 1840 г. читаемъ: «...Я радъ всему, всему, что ни случается со мною въ жизны, и какъ ногляжу я только, къ какимъ чудеснымъ пользамъ и благу вело меня то, что называется въ свътъ неудачами, то растроганная душа моя не находить словь благодарить Невидимую Руку, ведущую меня». Жуковскому онь писаль 10 мая 1843 г.: "Бользнь моя такъ мнъ была досель нужна, какъ разсмотрю ноглубже все время страданія моего, что не даеть духу просить Бога о выздоровленіи. Молю только Его о томъ, да ниспошлеть нъсколько свъжихъ минутъ и надлежащихъ душевныхъ расположеній, нужныхъ для изложенія на бумагу всего того, что пріуготовляла во мнъ бользнь страданіями и многими, многими искушеніями и сокрушеніями всъхъ родовъ, за которыя недостаеть словь и слезъ благодарить его всеминутно и ежечасно..."

Вникая въ тайный смыслъ посылаемыхъ ему испытаній, неустанно прислушиваясь къ указаніямъ свыше, Гоголь незаметно выработаль себъ ивчто въ родъ "теоріи познанія" путей Провидьнія и вмъсть теоріи чудодьйственной силы молитвы. Онъ писаль Языкову (4 ноября 1843 г.): "Молитва не есть словесное дёло; она должна быть отъ всёхъ силь душа; безъ того она не возлетить. Молитва есть восторгъ. Если она дошла до степени весторга, то она уже просить о томь, чего Богь холеть, а не о томъ, чего мы хотимъ. Какъ узнать хотвніе Божье? Для этого нужно взглянуть разумными очами на себя и изследовать себя: какія способности, данныя намъ отъ рожденія, выше и благороднве другихъ? Теми сиособностями мы должны работать преимущественно, и въ сей работъ заключено хотъніе Бога; иначе онв не были бы намъ даны. Итакъ, прося о пробуждени ихъ, мы будемъ просить о томъ, что согласно съ Его волею; стало-быть, молитва наша прямо будеть услышана. Но нужно, чтобы эта молитва была отъ всъхъ сяль души нашей. Если такое постоянное напряжение, хотя на двв минуты въ день, соблюсти въ продолжение одной или двухъ недъль, то увидишь ея дъйствія непремінно. Къ концу этого времени въ молитві окажутся прибавленія. Вотъ какія произойдуть чудеса. Въ нервый день еще ни ядра мысли нёть въ голов в твоей: ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: "Дай произвести мнъ", но уже "дай произвести мив въ такомъ-то духв". Потомъ на четвертый или пятый: "Съ такою - то силою". Потомъ окажутся въ душт вопросы: какое впечатлтне могутъ произвести задумываемыя творенія и къ чему могутъ послужить? ІІ за вопросами въ ту же минуту последують ответы, которые будуть прямо оть Бога. Красота этихъ отвътовъ будеть такова, что весь составъ уже

самъ собею превратится въ восторгъ: и къ концу какой-пибудь другой недъли увидишь, что уже все составилось, что нужно: и предметъ, и значение его, и сила, и глубокий внутренний смыслъ, словомъ—все; стоитъ только взять въ руки перо, да и писатъ". Эти любонытныя строки говорятъ сами за себя. Онъ какъ нельзя лучше раскрываютъ намъ самую суть того мистическаго уклада души, какой былъ присущъ Гоголю.

Какъ видно изъ приведеннаго отрывка, Гоголь стремился внушить такое вострине и настроение другимъ, — въ данномъ случат поэту Языкову. Вотъ аналогичное внушение, обращениее къ художнику Иванову: "Вы еще далеко не христіанивъ, хотя и замыслили картину на прославление Христа и христіанства. Вы не почувствовали близкаго къ намъ участья Бега и всю высоту родственнаго союза, въ который Онъ вступилъ съ нами".

соту родственнаго союза. въ который Онъ вступилъ съ нами". Нетрудно пенять, какое вліяніе должно было оказать это мистическое воззрѣніе на постановку той лячной правственной задачи, того "душевнаго дѣла", которее такъ занимало Гоголя: этическое поглощалось у него религіолнымъ, проблемма правственнаго совершенствованія ставплась и рѣшалась въ духѣ личнаго подвижинчества, аскетизма, удалевія отъ міра. Онъ глубоко віриль, что на этомъ пути устанавливается и крѣпнетъ связь человѣка съ Божествомъ и за человѣкомъ обезкечявается загробное блаженство на небесахъ.

## IV.

Вимкая въ испхологическій составъ "душевнаго дѣла" Гоголя, мы ясно различаемъ въ этомъ мудреномъ "дѣль" дъѣ исловины: 1) религіозно-правственное самовоснитаніе съ тѣми мистическими пріемами, на которые я только-что указаль, и 2) стремленіе къ илодотворной (какъ понямаль Гоголь) о б щ е стве и и о й дѣятельности, давощей субъекту и равствени о с удовлетвореніе. Это стремленіе, въ высокой степени характерное для развитія нашего общественнаго самосознанія, прекраско выражается въ предложенной Н. К. Мъхайловскимъ формуль: "Какъ мив жить свято". Въ нашей литературь оно впервы проявилось съ достаточно яркой свлой именно у Гоголя, и потому-то творець "Мертвыхъ душь" и моралисть "Выбраиныхъ мѣстъ" по праву должень быть названъ основоположицкомъ морализирующихъ, "проповѣдническихъ" теченій или направленій въ развитін нашей общественной мысли.

Этому значенію Гоголя не могла повредить та крайнемистическая и аскетическая постановка вравственныхъ задачъ, какую мы видимъ у него. Ибо, во-первыхъ, важно было не то, какъ задача ставилась, а то, что она впервые была такъ или иначе поставлена, что вопросъ быль поднять, что великій художникъ сталь моралистомъ и заговорилъ о нравственномъ достоинствъ человъка, о его призваніи къ лучшему нравственному существованію, о необходимости стремиться къ добру, къ чистотъ души, къ внутренней правдѣ и проявлять эти стремленія въ поступкахъ, въ жизни. А во-вторыхъ, по свойственной человъку непослъдовательности,—у Гоголя особливо замътной,—крайне аскетическая, отръшенная отъ жизни, постановка задачи, не была доведена у него до конца; въдь онт не ушелъ въ монастырь и другихъ не побуждалъ къ тому; напротивъ, его проповядь приняла направление общественное: онъ хотъль вліять на общество, исправлять нравы, съ какою цълью и издаль «Выбранныя мъста». Мало того: всю свою художественную работу онъ хотёлъ повернуть въ эту сторону, выработавь извѣстный— правственно-поучительный— планъ второй и третьей части «Мертвыхъ Душь». Наконецъ, мы, видимъ, что онъ ведетъ своеобразную пропаганду среди лицъ высокопоставленных высокопоставленных стремясь подвинуть пув на активную борьбу съ общественным зломъ (неправосудіемъ, взяточничествомъ и т. д.). И мы можемъ смъло сказать о Гоголь, что онъ, преслъдуя свое «душевное дъло», не только «спасалъ свою душу», но п стремился по-своему «дълать благое дъло среди царюющаго зла».

Но съ годами «душевное дѣло» Гоголя принимало оборотъ все болѣе неблагопріятный для его личнаго—душевнаго благополучія и для его художественнаго творчества. Оно развивалось въ духѣ крайняго аскетизма и мистики. Это зависѣло ближайшимъ образомъ, во-первыхъ, отъ болѣзненной мнительности Гоголя въ отношеніи его нравственнаго сознанія,—мнительности, переходившей въ «нравственную ипохондрію», а во-вторыхъ, отъ присущаго ему—совсѣмъ уже нераціональнаго—вѣрованія въ чорта, въ «нечистую силу». Оттуда у него вѣчные страхи, постоянное содроганіе отъ со-

дъянныхъ пли несодъянныхъ гръховъ, ужасъ при мысли, что, можеть быть, воть сейчась онь попадеть въ когти дыявола и нотеряетъ столь тяжкимъ трудомъ завоеванное блаженство въ раю... Оттуда постоянныя нокаянія, учащенныя молитвы, оттуда, если можно такъ выразиться, «душевныя вериги», которыя онъ посилъ, наконецъ-подчинение вліянію о. Матвъя. Мы живо чувствуемъ этотъ мучительный, этотъ бользненный страхъ и трепетъ души «гръшника», когда читаемъ извъстное духовное завъщание Гоголя, гдъ сказано: «Во имя Отца и Сына... Я хотёль бы, чтобы по смерти выстроень быль храмь, въ которомъ бы производились частыя номинки по грешной душе. Для того кладу въ основание половину монур доходовъ съ сочиненій... Я бы хотёль, чтобы тело мое было погребено, если не въ церкви, то въ ограда церковной, и чтобы паняхиды по мнв не прекращались». («Письма Н. В. Гоголя», подъ редакціей В. П. Шенрока, 1902, т. IV, стр. 426). Въ другомъ мъсть того же документа читаемъ: «Помилуй, Господи, меня грышнаго: свяжи сатану вновь» (стр. 424). II еще: «Помилуй меня гръшнаго, прости, Господи! Свяжи вновь сатану тапиственною силою неисповъди-маго креста» (написано за изсколько дней до кончины, см. тамъ же, стр. 426). Вспомнимь и известный разсказь о томъ, какъ незадолго до смерти Гоголя (въ началѣ февраля 1852 г.) о. Матвѣй такъ «напугалъ его изображеніемъ отвътственности на Страшномь Судъ, что Гоголь, не владъя собою, прерваль его речь и сказаль ему: «Довольно! Оставьте меня! Не могу далье слушать! Слишкомъ страшно»! (Примъчаніе В. П. Шенрока на стр. 423-й IV тома «Писемъ», со ссылкою на «Последніе дик Н. В. Гоголя» д-ра Тарасенкова).

Однако даже въ самый разгарь такихъ страховъ Гоголь не упускаль изъ виду общественной стороны правственныхъ задачъ личности. Въ началѣ того же «духовнаго завѣщанія» находямъ обращеніе къ «друзьямъ», гдѣ сказано: «Не смущайтесь никакими событіями, какія ни случатся вокругь васъ. Дълайте каждый свое дѣло, моляся въ тишинѣ. Общество тогда только поправится, когда всякій частный человѣкъ займется собою и будетъ жить какъ христіанинъ, служа Богу тѣми орудіями, какія ему даны, и стараясь имѣть доброе вліяніе на небольшой кругъ людей, его окружающихъ. Все

придеть тогда въ порядокъ, сами собой установятся тогда правильныя отношенія между людьми, опредѣлятся предѣлы законные всему. И человѣчество двинется впередъ»... (тамъ же, стр. 423—4).

Излишне опровергать эту точку зрѣнія и доказывать, что такимъ способомъ никакія общества не «поправлялись», и человѣчество этимъ путемъ не двигалось впередъ и пе можетъ двинуться... Но для насъ важно указать на то, что эта нераціональная, противорѣчащая и историческому опыту, и всѣмъ предпосылкамъ науки, точка зрѣнія не разъ выставлялась и въ послѣдующее время въ нашей литературѣ,—именно нѣкоторыми представителями того морализирующаго направленія, основателемъ котораго былъ Гоголь. Съ особливою настойчивостью и послѣдовательностью проводится она въ проповѣди Л. Н. Толстого. Виѣстѣ съ тѣмъ укажемъ и на то, что едва ли найдется подобная постановка нравственнообществонной задачи у представителей другого теченія, именно того, которое идетъ отъ Пушкина.

#### V.

Когда появились «Вечера на хуторѣ», «Миргородъ» и др., потомъ «Ревизоръ», никому и въ голову не могло прійти, что авторъ этихъ вещей, по своему душевному укладу и характеру дарованія, призванъ сдѣлаться художникомъ-моралистомъ. Нравственныя основанія смѣха въ «Ревизорѣ», конечно, были поияты лучшими умами эпохи; но что «Ревизоръ» былъ написанъ при особливомъ давленіи «мукъ совѣсти», это зналъ только одинъ человѣкъ— самъ Гоголь, да и тотъ еще не понималъ истипнаго смысла и всего значенія этого факта.

Фактъ состоялъ въ пробуждени особливой, болвзненной отзывчивости правственнаго чувства, реагирующаго, съ чуткостью барометра, на давление правственной атмосферы общества. А самому обладателю этого «барометра» казалось, что двло пдетъ только объ указании на частные случаи «глоупотреблений», да еще объ псправлении себя самого отъ ивкоторыхъ педостатковъ и дурныхъ замашекъ...

Но вскор'в опъ сталъ уже ясибе различать голосъ своихъ душевныхъ мукъ и понялъ, что это—одна изъ важныхъ пружинъ его творчества. Впоследствін, въ «Авторской исповіди», онъ вспоминаль: «Причина той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ..., заключалась въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мив самому необъяснимой, которая происходила, можеть быть, оть моего бользненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумываль себв все смвшное, что только могъ выдумать...». Объясненіе—довольно наивное, но въ немъ нельзя не видъть правильнаго указанія на симптомы сложнаго душевнаго процесса, который въ ту эпоху (первыхъ произведеній Гоголя) только начиналь развиваться. Припадки безотчетной тоски, отъ чего бы она ни происходила, были прецедентами той напряженной работы правственнаго сознанія, которая вскор должна была обнаружиться съ полною очевидностью. Потребность въ смѣхѣ, въ утѣхахъ беззаботнаго веселаго творчества-безъ мукъ совъсти-явилась, при огромномъ комическомъ таланть, естественною реакціей противъ припадковъ «необъяснимой тоски».

«Ревизоръ» былъ поворотнымъ пунктомъ въ творчествъ Гоголя: великою комедіей онъ круго повернуль въ сторону того творчества, которое мы называемъ «связаннымъ» запросами личнаго нравственнаго сознанія художника. Въ той же «Авторской исповеди» читаемъ: «Я увиделъ 1), что въ сочиненіяхъ своихъ сменось даромъ, напрасно, самъ не зная зачёмь. Если смёнться, такъ ужъ лучше смёнться спльно и надъ тъмъ, что дъйствительно достойно осмъянія всеобщаго. Въ «Ревизорѣ» я рѣшился собрать въ одну кучу все дурное въ Россіи, какое я тогда зналъ, вст несправедливости, какія дълаются въ тъхъ мъстахъ и въ тъхъ случаяхъ, гдъ больше всего требуется отъ человъка справедливости, и за однимъ разомъ посмъяться надъ всъмъ. Но это, какъ извъстно, произвело потрясающее дъйствие. Сквозь смъхъ, который никогда еще во мив не появлялся въ такой силь, читатель услышалъ грусть. Я самъ почувствоваль, что уже смехь мой не тоть, какой быль прежде, что уже не могу быть въ сочиненіяхъ монхъ тыть, чыть быль дотоль, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась видств съ

Посав того какъ Пушкивъ раскрызъ ему газза.

молодыми моими лѣтами».—Онъ все болѣе углубляется въ свой внутренній міръ, вникаетъ въ мудреныя задачи, которыя подымались тревожной работой нравственнаго чувства и—при темнотѣ мысли—такъ нераціонально ставились его огромнымъ умомъ,—и вотъ въ письмахъ его все чаще и чаще попадаются указанія на какое-то «душевное дѣло», его занимающее, на необходимость «самовоспитанія», на благотворное вліяніе на его душу разныхъ «отлученій отъ міра», уединенія, «сокрушеній», наконецъ болѣзней...

Изумлялись, читая все это, друзья его и не совсёмъ вёрили искренности его признаній. «Хитритъ хохолъ», думали они, и терялись въ догадкахъ о томъ, къ чему все это, какая скрытая цёль или задняя мысль могла руководить въ данномъ случаё "хитрымъ хохломъ"... Въ настоящее время искренность этихъ признаній Гоголя уже не можетъ возбуждать сомнёнія: этотъ человёкъ дёйствительно былъ поглощенъ внутренней работой "самовоспитанія", и его творчество и двигалось, и связывалось "муками совёсти" и своеобразною постановкою личнонравственной задачи; его дёйствительно занималъ и мучилъ вопросъ: "какъ мнѣ жить свято?", — и онъ соединялъ свои правственныя стремленія съ задачею осуществленія своей "общественной стоимости".

И нъть никакихъ основаній сомнъваться въ искренности его признаній въ роді слідующаго: "Я еще не зналь тогда (говорить онь въ "Авторской исповеди" по поводу своихъ поисковъ "мъста на государственной службъ"), какъ многаго мнь недоставало затьмъ, чтобы служить такъ, какъ я хотьль служить. Я не зналь тогда, что нужно для этого победить въ себѣ всѣ щекотливыя струны самолюбія личнаго и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взяль мъсто не для своего счастья, но для счастья многихъ тёхъ, которые будуть несчастны, если благородный человѣкъ броситъ свое мѣсто... Я не зналъ еще тогда, что тому, кто пожелаеть истинночестно служить Россіи, нужно иміть очень много любви къ ней, которая бы поглотила уже всё другія чувства, -- нужно имъть много любви къ человъку вообще и сдълаться истиннымъ христіаниномъ во всемъ смыслё этого слова". Вскорь, именно все тымь же путемь самовоспитанія, самоуглубленія, "сокрушеній" и молитвъ, онъ и позналъ эту истину, гласящую, что въ Госсіи (его времени) нужно быть истиннымъ

христіаниномъ для того, чтобы на службѣ быть порядочнымъ человѣкомъ...

Но ему не дано было постичь другой—простой—истины, что великая задача общественнаго развитія и вмѣстѣ государственной пользы въ томъ-то и состоитъ, чтобы создать условія, при которыхъ человѣкъ, служащій государству и обществу, легко могъ бы добропорядочно исполнять свои обязанности и не оудучи "настоящимъ христіаниномъ во всемъ смыслѣ этого слова"... Впослѣдствіи, паденіе крѣпостного права, развитіе общественнаго самосознанія, рядъ реформъ 60-хъ годовъ, распространеніе образованія и т. д. явились первыми шагами на этомъ пути. Какъ творецъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», Гоголь былъ одной изъ силъ, создававшихъ самую возможность этихъ первыхъ шаговъ.

Если мы признали, что постановка вопросовъ личнаго правственнаго сознанія ("душевное діло") была у него необходимою пружиной его творчества, то этимъ самымъ признали великую важность этого лично-нравственнаго стремленія и для діла нашего общественнаго развитія, только не прямо (ибо содержаніе проповіди Гоголя было безусловно непригодно для этого развитія), а косвенно—черезъ посредство художественнаго творчества, которсе есть ділтельность, въ своей исихологической сути, чисто личная, а по значенію и призванію—общественная и національная.

#### глава V.

Гоголь—общеруссъ на малорусской основъ. Къ вопросу о національномъ—общерусскомъ значеніи его.

Національность челов' ка опред'тляется не его происхожденіемъ, а его языкомъ, именно темъ, который называютъ ,,роднымъ" (Muttersprache). "Родной языкъ" это тотъ, который, будучи усвоень челов комъ съ дътства, сталъ для него привычнымъ, удобнайшимъ, необходимымъ органомъ его мысли. Эгототь, на которомъ человекъ непроизвольно мыслить, и который служить ему не столько для передачи мысля другимъ, сколько для созданія его собственной мысли. На немъ онъ молчаливо думаетъ, на немъ онъ видитъ свои сны и онъ же является всегда готовымъ средствомъ выраженія его чувствъ, его настроеній к страстей, всехъ интимныхъ движеній души. — Если для васъ, по обстоятельствамъ вашей жизни, такимъ языкомъ сталъ, скажемъ, французскій, то вы по національности, несомнічно,французь, хотя бы происходили отъ русскихъ родителей и у васъ не было ни капли "французской" крови. Ваше чисто-русское происхождение можеть только внести кое-какіе оттёнки вь вашу французскую національную форму, по последняя, по существу, останется столь же французскою, какою является она у чистопровныхъ французовъ.

Прилагая къ Гоголю это понятіе о національности, мы рѣшительно отвергаемъ обычное представленіе о Гоголѣ—какъ малороссѣ въ собственномъ смыслѣ. При малорусскомъ происхожденіи, онъ былъ, по національности, не малороссъ, а общеруссъ. Это съ очевидностью явствуетъ изъ двухъ фактовъ, которые въ данномъ вопросѣ имѣютъ рѣшающее значеміе: 1) художественное творчество Гоголя совершалось на общерусскомъ, а не на малорусскомъ языкѣ, — а вѣдь давно дознано, что художественно творить на языкѣ не родномъ (въ

жишеуказанномъ смыслв) — это психологическая невозможность; на неродномъ, на искусственно усвоенномъ языкъ можно только сочинять, упражняться въ слогв, но нельзя поэтически — мыслить; 2) четыре тома его писемь, начиная съ дѣтскихъ, свидѣтельствують о томъ, что обиходнымъ языкомъ его личной жезни былъ общерусскій, — на немъ, очевидно, говорили въ его семьв, и онъ усвоилъ его еще въ дѣтствъ, въ домѣ родителей, въ Васильевкъ; на немъ же писалъ онъ нисьма близкимъ друзьямъ-землякамъ (А. С. Данилевскому, Проконовичу, Максимовичу). Въ огромной массѣ писемъ Гоголя есть только одно малорусское, да и то адресовано поляку, Богдану Залѣсскому, и само по себѣ (если бы, положимъ, малорусское происхожденіе Гоголя было неизвѣстно намъ) такъ же мало свидѣтельствовало бы о его малорусской національности, какъ итальянское письмо къ Балабиной — о его мтальянской національности.

При всемъ томъ нельзя, разумѣется, отрицать присутствія въ національномъ складѣ Гоголя извѣстныхъ чертъ, принадлежащихъ національности малорусской. Гоголь быль общеруссь, но въ его общерусскомъ національномъ укладѣ и въ его общерусскомъ языкѣ были признаки малорусскаго промсхожденія, подобно тому какъ у другого общерусса найдутся признаки великорусскіе, у третьяго — бѣлорусскіе, у четвертаго — польскіе, у пятаго — еврейскіе и т. д.

Чтобы не сбиваться въ этомъ вопросѣ, который, при всей лингвистической и исихологической простотѣ и ясности, запутанъ и затемненъ неправильными ходячими представленіями о національности, необходимо прежде всего усвоить себѣ истинную природу того явленія, для обозначенія котораго мы пользуемся терминами «общеруссъ», «общерусскій», давно узаконенными въ филологической литературѣ, но малоупотребительными въ общежитіи.

Обыкновенно въ томъ смысль, какъ мы говоримъ здъсь кобщеруссъ», говорять «русскій», — и это вносить путаницу. И въ самомъ дѣль: хохоль изъ глубины Полтавщины и рускить изъ Галиціп, вѣдь, также русскіе, не меньше великоросса изъ Москвы, великоросса изъ Новгородской губ., сибиряка, бѣлорусса и т. п. Все это—этинческія разновидности, полводящіяся подъ видовое понятіе— «русскіе», которое служить только для ихъ обобщенія, ихъ суммированія. Совсьмъ

не то - «общеруссы»: это слово означаеть не объединеніе или обобщение понятий «великороссы», «малороссы», «бѣлоруссы» съ ихъ многочисленными деленіями по наречіямъ и говорамъ въ одну группу, а служитъ названіемъ особой, фактически существующей разновидности. Иначе говоря, подъ общее понятіе «русскіе» подводятся всв великороссы, малороссы, бёлоруссы со всёми ихъ подразлёленіями, и еще — общеруссы, также имбющіе свои подраздъленія: общеруссы на великорусской основъ, общеруссы на малорусской, на бёлорусской и потомъ также на разныхъ основахъ не русскаго происхожденія, а инороднаго. Сомнівваться въ существованіи особой національной формы, обозначаемой названіемъ «общерусской», нельзя, — ибо не подлежить сомниню существование особаго общерусскаго языка, отличнаго отъ великорусскаго, малорусскаго, бълорусскаго, и при томъ языка не искусственнаго, мертваго, а «натуральнаго», живого. Общеруссы—это всё те, для которыхъ онъ является «роднымъ» въ вышеуказанномъ смыслъ. Возникъ онъ, какъ извъстно, изъ московскаго наръчія великорусскаго языка; но ставъ языкомъ государственнымъ, а также языкомъ интеллигенціи и литературы, онъ давно уже перешель за предвлы московского нарвчія, восприняль массу чуждыхъ последнему словъ и оборотовъ, получилъ высшее развитіе и сталъ однимъ изъ міровыхъ языковъ. Онъ продолжаеть развиваться и совершенствоваться, онъ живетъ и при томъ — высшею жизнью, служа, помимо своей роли, какъ способа общенія многочисленныхъ племенъ, населяющихъ Россію, — орудіемъ созданія творческой мысли, какъ общественной, такъ и научно-философской и художественной. Это — языкъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Бълинскаго, Добролюбова, Л. Н. Толстого и т. д., — языкъ высокой поэзім, великой литературы.

Необходимымъ условіемъ его жизнеспособности и его дальнѣйшаго развитія, какъ всегда въ этихъ случаяхъ, является сохраненіе тѣхъ родниковъ, изъ которыхъ образовался этотъ могучій потокъ, т. е. народныхъ языковъ (великорусскаго, малорусскаго, бѣлорусскаго съ ихъ нарѣчіями). Литературная обработка этихъ послѣднихъ, т. е. развитіе мѣстныхъ, преммущественно народныхъ литературъ, имѣя огромное просвѣтительное значеніе, въ то же время расчищаетъ «родники»,

не даетъ имъ засариваться или застанваться и съ темъ вместе подводитъ прочный культурный фундаментъ подъ зданіе общерусскаго языка и литературы, претендующихъ на міровое значеніе. Дальнейшая же судьба того или другого народнаго языка, той или иной местной литературы—это вопросъ исторіи, дело грядущаго, которое предвидеть или предопределить намъ не дано.

Великій общерусскій поэть-художникь, одинь изь основателей общерусской литературы, Гоголь, конечно, быль общеруссь на малорусской основь. Какую долю въ его національномь складь и въ его творчествъ слъдуеть отнести насчеть основы, это—вопросъ детальныхъ изслъдованій, которыя едва начаты 1). Намъ приходится ограничиться указаніями на элементарные и общензвъстные факты.

Онъ любилъ малорусскую народность и не переставалъ чувствовать свое психологическое родство съ нею. Онъ любилъ малорусскія пісни, собпраль ихъ, піль ихъ... Для этого, разумфется, нъть надобности непремьнно быть «настоящимъ малороссомъ», но, повидимому, въ душт Гоголя были особыя національныя — «струны», которыя отзывались на эти «родные звуки» трепетнъе и сочувственнъе, чъмъ это могло бы быть у посторонняго любителя малорусской народности, поэвіи и старины. Онъ тонко и отзывчиво, какъ говорится, «нутромъ» понималь особенности малорусского національного склада, потому что эти особенности, или некоторыя изъ нихъ, были у него самого. Сюда относится, между прочимъ, его несравненный юморъ, специфически-малорусскій, и веселый, жизнерадостный смёхъ, искрящійся въ его произведеніяхъ изъ малорусской жизни. Можеть быть, сюда же прійдется отнести и склонность къ «поэтической лѣни», къ художественно-созерцательной жизни... Другія черты Гоголя, которыя нередко также приписывають его малорусскому происхожденію, напримітръ, его «хитрость» и «неискренность», конечно, не образують особенности малорусской національности и принадлежали Гоголю лично, какъ человѣку. Вообще черты нравственнаго порядка не входять въ составъ національныхъ

<sup>1)</sup> На первый планъ выдвигаются здѣсь наблюденія надъ языкомъ и слогомъ Гоголя, гдѣ много малоруссизмовь. Почтенное изслѣдованіе проф. Мандельштама ("О характерѣ Гоголевскаго стили". С. П. Б., 1902 г.) пролагаетъ путь этимъ наблюденіямъ. О немъ см. превосходную статью А. Г. Горнфельда (въ "Русск. Бог.". 1902, І).

формъ. Онѣ могутъ быть принадлежностью извѣстныхъ общественныхъ классовъ и профессій, но отнюдь не національности, какъ таковой, и совершенно ошибочно приписываются этой послѣдней—въ силу привычки судить о ней по тому или другому классу, который почему-либо разсматривается какъ типичный представитель ея 1).

Національно-малорусскія черты въ умственномъ складѣ Гоголя въ извѣстной мѣрѣ оживлялись тѣмъ, что Гоголь хорошо владѣлъ малорусскимъ языкомъ, не забывалъ его, зачастую говорилъ на немъ—съ «земляками» (и другими, напр., съ Богд. Залѣсскимъ), могъ писать на немъ. Но спрашивается: могъ ли онъ творить на немъ? Вѣроятно, могъ бы — въ предѣлахъ малорусскихъ впечатлѣній и наблюденій на сюжеты «Вечеровъ», «Тараса Бульбы», пожалуй—«Ссоры Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ». Но въ высокой степени знаменательно то, что фактически онъ даже и не пробовалъ творить на малорусскомъ языкъ, и что единственнымъ и необходимымъ орудіемъ его творчества былъ языкъ общерусскій.

Изученіе Гоголя. какъ поэта и писателя, какъ одного изъ творцовъ русской (общерусской) литературы, представляетъ особливый интересь между прочимъ для изученія психологіи самой общерусской національной формы. Д'яло въ томъ, что, несмотря на великорусское происхождение общерусского языка, общерусскую національную форму, какъ явленіе исихологическое, нельзя считать разновидностью великорусской. Мы сказали выше, что національность человъка опредъляется языкомъ. Но это не значить, чтобы языкомъ исчерпывалась вся совокупность черть, образующихъ національную форму личности. Эта форма, какъ собрание или, лучше, психологическій синтезь изв'єстныхь черть духовнаго склада и особенностей ума, есть явленіе болье сложное и широкое; она содержить въ себъ много такого, что не принадлежитъ непосредственно къ психологіи языка. Напр., въ національныхъ формахъ мы находимъ черты, которыми характеризуется высшее мышленіе, возвышающееся надъ языкомъ. Такъ, на ан-

<sup>1)</sup> Такъ, напримъръ, польской національности приписали пресловутый "гоноръ", черту чисто шляхетскую, а вовее не польскую, ошибочно отождествляя "польское" (національное) со шляхетскимъ (классовымъ). Такихъ "ошибокъ"— масса.

глійской философіи лежить явственный отпечатокъ англійскаго національнаго генія; на нѣмецкой — отпечатокъ специфически пѣмецкихъ привычекъ и пріемовъ мысли пѣмецкаго «генія» и т. д.; связь съ языкомъ и его психологіей здѣсь не псчезаеть, но она—не прямая, а косвенная, болѣе отдаленная, болѣе сложная, чѣмъ та, которая видна въ пѣкоторыхъ другихъ прэявленіяхъ или дѣятельностяхъ національнаго сознанія, напр., въ поэзін. Далѣе, національный складъ сказывается въ практикѣ жизни, въ народныхъ движеніяхъ, въ учрежденіяхъ, въ явленіяхъ общественнаго самосознанія, въ соціальномъ творчествѣ. Національныя особенности, проявляющіяся въ этой области, конечно, не вытекаютъ изъ психологіи языка, и послѣдняя только участвуетъ какъ одинъ изъ составныхъ элементовъ въ этой дѣятельности національнаго духа.

Общерусская національность образовалась (я продолжаеть развиваться дальше) общими силами всёхъ русскихъ этнографическихъ разновидностей при довольно замътномъ участіи обрусъвшихъ иностранцевъ и инородцевъ. Въ особенности значителенъ вкладъ малороссовъ, который, начавшись въ XVII-мъ вѣкѣ, идеть все увеличиваясь. Поистинъ поразительна та легкость и быстрота, съ которою уже въ XVIII-мъ въкъ, а еще болъе въ XIX-мъ малороссы переходили отъ своей національной формы къ общерусской. Это не значить, что они превращались въ великороссовъ: это значить, что они вмёстё съ великороссами, бълорусами и т. д. принимали дъятельное участіе въ образованіи и развитіи четвертой русской національности-общерусской, внося въ нее извъстный вкладъ изъ своего языка, а еще болье—изъ другихъ сторонъ своей основной національности. Въ этомъ смысль общерусскій національный складъ на добрую долю долженъ быть признанъ «малорусскимъ», при языкѣ великорусскаго происхожденія. Однимъ изъ самыхъ богатыхъ вкладовъ въ общерусскую національность со стороны малорусской быль Гоголь, или, лучше сказать, онъ быль типичнымь и яркимъ представителемъ этого явленія, частнымъ случаемъ огромной важности въ этомъ историческомь процессь — образованія общерусской національности при особливо дьятельномъ участіи малорусской.

Въ этомъ «стихійно-историческомь» процессъ наблюдается между прочимъ одно любопытное въ теоретическомъ отношеніи явленіе, которое можно назвать «раздвоеніемъ націо-

нальной личности» человѣка. Гоголя мы причислили къ общерусамъ, но у многихъ другихъ мы найдемъ совмѣщеніе, параллелизмъ двухъ національныхъ формъ—общерусской и малорусской то при равновѣсіи обѣихъ, то съ преобладаніемъ одной надъ другою. Сюда относятся, напр.: Квитка, у котораго малорусская форма преобладала надъ общерусскою; Гребенка, у котораго, повидимому, было наоборотъ; наконецъ, даже самъ Шевченко, сохранившій благодаря происхожденію изъ народа малорусскую форму въ особливой чистотѣ и ставшій первостепеннымъ національнымъ поэтомъ; однако при всемъ томъ въ немъ была и общерусская національная форма (характерно, что свой извѣстный «Дневникъ» онъ писалъ на общерусскомъ языкѣ).

Что касается Гоголя, то въ немъ мы (вопреки взгляду глубокоуважаемой А. Я. Ефименко, изложенному въ ея талантливой стать о Гоголь, «Въстн. Евр.», іюль 1902 г.) не видимъ совмъщенія или параллелизма двухъ національныхъ личностей, и всв его «малорусскія симпатіи» объясняемъ не сохраненіемъ въ немъ малорусской національности, а только его малорусскимъ происхожденіемъ, малорусскою основою его общерусской національности. — Къ тому же подобнаго рода симпатіи нер'вдко наблюдаются и у другихъ, о малорусской національности которыхъ не можеть быть и рѣчи, но у которыхъ либо есть доля «хохлацкой крови», либо еще въ детстве залегли живыя впечатленія края, его природы, культурной обстановки, нравовъ жителей, звуковъ ихъ ръчи, мелодій ихъ пъсенъ. Этого рода симпатіи «ко всему малорусскому» мы находимъ, напр., у А. О. Смирновой, у гр. Ал. К. Толстого, а также и у лицъ, совершенно «постороннихъ» которымъ просто полюбилась малорусская національная складка, какъ Гоголю полюбилась итальянская. И. С. Тургеневъ, слегка «подтрунивая» надъ «хохлами», всегда однако относился къ нимъ съ большой симпатіей (Михалевичь въ «Дворянскомъ Гнёздё», воспоминанія о Шевченкъ, переводъ малорусскихъ очерковъ Марка Вовчка, личныя признанія въ этомъ смысль, напр., въ бесьдь съ Драгомановымъ).

Малорусскія симпатіи Гоголя, разумѣется, не были симпатіями «посторонняго», ибо онъ былъ «по крови» настоящій хохоль, но и не были выраженіемъ живой національной формы, —иначе онъ, при его поэтическомъ генін, не могъ бы воздержаться отъ творчества на малорусскомъ языкѣ. Но всему видно, что у него совстив не было внутренняго нобужденія творить на этомъ языкѣ. Пусть «Ревизора» п «Мертвыя душя» не было и смысла писать по-малорусски, но великій поэтъ, если бы онъ быль настоящій малороссъ по національности, по языку, съ нсихологическою необходимостью долженъ былъ бы написать «Вечера на хуторѣ» прежде всего на своемъ родномъ языкѣ.

Въ заключение вспомнямъ здъсь извъстное суждение самого Гоголя о своей національности и объ отношеніяхъ между двумя важнъйшими русскими народностями. Въ огромномъ письмъ къ Смирновой отъ 24 дек. 1844 г. находимъ между

прочимъ слѣдующее:

«Скажу вамъ одно слово насчеть того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, какая у меня душа, письма вашего, служило одно время предметомъ вашихъ разсужденій и споровъ съ другими. На это вамъ скажу, что я самъ не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская 1). Знаю только то, что никакъ бы не далъ преимущества ни малороссіянину передъ русскимъ, ни русскому передъ малороссіяниномъ. Объ природы слишкомъ щедро одарены Богомъ и какъ нарочно каждая изъ нихъ порознъ заключаетъ въ себъ то, чего нътъ въ другой: явный знакъ, что онъ должны пополнить одна другую. Для этого самыя исторіи ихъ прошедшаго быта даны имъ не похожія одна на другую, дабы порознь воспитались различныя силы ихъ характеровъ, чтобы потомъ, слевшись воедино, составить собою итчто совершеннъйшее въ человъчествъ»...

Это мѣсто требуеть нѣкоторыхъ поясненій. Прежде всего, что понималъ Гоголь подъ терминомъ «русскій»? Такъ какъ это слово противопоставлено слову «хохлацкій», то, на первый взглядъ, подъ нимъ слѣдуеть понимать «великорусскій». Ибо въ противномъ случаѣ выходило бы, что «хохлы» (малороссы)—не русскіе, т.-е. не припадлежать къ русской вѣтви славянскаго племени, чего Гоголь, конечно, не думалъ. Но если выраженіе «русская душа» означаеть у него принадлеж-

<sup>1)</sup> Это очень характерно, именно, для общерусса, такъ же какъ и слъдующее: "Я... соединилъ въ себъ двъ природы: хохлика и русскаго..."

ность къ великорусской національности, то получается другое недоразумѣніе: не могь же въ самомъ дѣлѣ Гоголь сомнѣ-ваться въ томъ, что онъ не великорусъ. Очевидно, терминъ «русскій» употреблень здісь въ томь значенім, въ какомъ мы брали выше терминъ «общерусъ». Поставимъ этоть последній на мъсто перваго - и всъ неясности устранятся. Гоголь, дъйствительно, могъ колебаться въ определении своей «національной души», ибо онъ, съ одной стороны, ясно сознавалъ ея общерусскій укладъ, а съ другой — столь же ясно ощущаль ея малорусскую основу. Далье, ихъ гармонія, дополненіе одной «души» другою, о которомъ онъ говоритъ, фактически осуществляется именно и только въ предълахъ общерусской національной формы, гд малорусская основа (у общерусовъ малорусскаго происхожденія) сливается съ тімь, что вносится другими элементами этой формы, въ особенности великорусскими. Но, говоря объ этомъ, Гоголь, очевидно, береть терминъ «русскій» уже въ смыслѣ «великорусскій» (двѣ разныя «исторіи», которыя «даны» двумъ русскимъ племенамъ, и пр.),и происходить обычная въ подобныхъ случаяхъ путаница понятій, приводящая между прочимъ къ странному утвержденію, что «обѣ души», «слившись воедино, составять собою нѣчто совершеннѣйшее въ человѣчествѣ». Суть дѣла въ томъ, что силою психологическаго синтеза національныхъ черть образовалась особая—о бщерусская—національная форма, существованіе и дальнъйшее развитіе которой вовсе не предполагаеть фактическаго «сліянія» данныхъ національностей, т.-е. прекращенія этническаго бытія великорусовъ, съ одной стороны, малорусовъ-съ другой. Это прекращение означало бы, что изсякли «родники», и привело бы къ оскудению самой общерусской «души», черпающей свои силы изъ техъ родниковъ. Если они изсякнутъ, то ужъ навърно «общерусская душа» не будеть «нѣчто совершенныйшее въ человъчествь». Разумѣется, не станеть она такимъ совершенствомъ и при ихъ сохраненіи («гдѣ ужъ! что ужъ!»), но во всякомъ случаѣ явится достаточно жизнеспособнымъ національнымъ укладомъ, призваннымъ къ самобытному творчеству, какъ въ высшихъ сферахъ мысли (въ наукъ, философіи, искусствъ), такъ и въ юдоли общественно-государственных отношеній, въ средъ сопіальной.

Приведенное мъсто очень характерно для Гоголя, именно

какъ общеруса, причемъ даже неустойчивость терминологіи («русскій» то въ смысль «великорусскій», то въ смысль «общерусскій»), а равно и ложное пониманіе синтеза націовальныхъ чертъ, какъ фактическаго сліянія народностей, являются ошибками и иллюзіями, свойственными по пренмуществу общерусамъ.

Все сказанное нами въ этой глав о настоящей національности Гоголя служитъ необходимымъ дополненіемъ къ тому, что выше (въ гл. ІІ-ой и ІІІ-ей) мы говорили о національномъ—общерусскомъ—призваніи Гоголя, о таковомъ же характер в типовъ «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ», о великомъ національномъ значеніи великой комедіи и геніальной поэмы, потомъ (въ гл. ІІІ-ей)—о созерцаніи Руси изъ прекраснаго далека, о психологіи этого созерцанія, наконецъ (въ гл. ІІІ-й)—о роли великаго «хохла», созерцателя Руси, какъ перваго начинателя у насъ моральной пропов ди, художественной и нехудожественной.

«Хохолъ» быль геній общерусскій. Онъ созерналь Русь изъ прекраснаго далека какъ общерусь, и дёло моральной проповѣди на Руси было предпринято имъ какъ общерусомъ.

### ГЛАВА VI.

Заключеніе: къ вопросу о геніальности Гоголя.

I.

Заканчивая этоть опыть психологическаго изученія натуры п творчества Гоголя, постараемся въ заключеніе уяснить себѣ хотя бы нѣкоторыя стороны психологіи его геціальности.

Насъ интересуеть здёсь вопросъ о томъ, какъ отражалась геніальность Гоголя на общемъ строё его душевной жизни, какъ проявлялась она въ некоторыхъ, наиболее характерныхъ для него, особенностяхъ его творчества.

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что такъ называемая «геніальность» является въ душѣ человьческой «осложняющимъ обстоятельствомъ» высокой важности: она могущественно вліяетъ на всю психику человѣка. Если возьмемъ двѣ натуры приблизительно одинаковыя, то при геніальности одной изъ нихъ получатся двѣ весьма различныя картины душевной жизни. Но, конечно, при современномъ состояніи психологіи, еще нельзя съ точностью опредѣлить, въ чемъ состоятъ и къ чему сводятся эти воздѣйствія геніальности человѣка на всю его психику. Впрочемъ, нѣкоторыя общія и предварительныя соображенія представляются мнѣ возможными.

Но прежде, чымь выставить ихъ, необходимо разобраться въ самомъ понятіи «геніальности».

Нельзя сказать, чтобы это понятіе было достаточно прочно установлено: въ противномъ случав намъ незачёмъ было бы «разбираться» въ немъ. Если опо не вполню установлено, это значитъ, что само психологическое явленіе геніальности недостаточно изучено. Но при всемь томь оно доста-

точно известно, нбо оно такъ заметно, такъ ярко и выступаеть съ такою очевидностью, сь такою, выражаясь грубо, «осизательностью», что не могло остаться не отмъченнымъ. Не имбя въ своемъ распоряжени научно выработаннаго поиятія геніальности, мы, однако, легко распознаемъ ее, называя геніями, напр., Ньютона, Рафаэля, Канта, Гете, Бетховена, Гейне, Пушкина, Мицкевича, Лобачевскаго и т. д., и т. д. Иначе говоря, мы имбемъ эмпирическое понятіе геніальности, которое оказывается въ общемъ достаточно правильнымъ и удобопрамънимымъ 1). - Какъ извъстно, это понятіе геніальности обосновано на двухъ главныхъ признакахъ: на творчествъ и оригинальности. Нетрудно дать этимъ признакамъ болве обстоятельное исихологическое истолкование. Во-первыхъ, очевидно, геніальность есть явленіе мысли, а не чувства и воли, и когда говорять: «геній чувства», «геній дійствія» (напр., посліднее—о реформаторахь, о веучиф» оне от оте от д. д. д. на виптикои ва вуком вунит. ральное выраженіе»: въ этихъ случаяхъ гепіальность, какъ таковая, принадлежить уму, но этогь геніальный умь, въ силу особенностей натуры человака, проявляеть свою творческую даятельность въ сферф чувствъ или въ практикъ жизни. Сами по себъ чувство или воля не могуть быть геніальны пли не геніальны, какъ не могуть быть талантливы или не талантливы. — Далье, геніальность какъ особый строй ума, характеризуется силою обобщенія (въ обширномъ смысль, какъ научномъ и философскомъ, такъ и художественномъ, а равно и «прикладномъ») 2). Всв генін, какихъ только мы знаемъ. были въ области отвлеченной мысли создателями великихъ научныхъ и философскихъ обобщеній, въ области художествен-

<sup>:</sup> Можно, конечно, ошибиться, назвавъ такого-то геніемъ или, наобороть, отказывая ему въ этомъ названін; можно спорить, были ли напр. Гельмгольць, пли Вирховъ, или Пасчеръ геніи, или только отличные работники въ своей области. Но это значило бы только, что характерные признаки генильности у этихъ лицъ выражены не такъ ярко, чтобы быть безспорными.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Геніальность въ сферь и рикладной (г. е. геніальность изобрытателя, какь Эдиссонь, полководца, какь Ганнибаль и Наполеонь I, позитическаго дыятеля, какь Петрь Великій или Багларкъв очевидно, съедится къ дару нахождены, созданы, уловлены частнаго случал ди приоженія или осуществленія общей идеи научнаго закона, правила, идеала и т. д.). Здысь творчество направлено не на общее, а ла частное, на конкротную дыстивгельность, но оно исходить изъ общаго, оно орудуєть имъ.

ной-создателями широкихъ типовъ, объединяющихъ образовъ, въ лирикѣ и музыкѣ—творцами той высшей «гармоніи», которая въ сферф чувствъ является коррелятомъ объединяющей мысли, въ прикладной и въ практической деятельности—творцами частнаго, въ которомъ осуществлялось или оправдывалось общее. Но въдь даръ обобщенія—это вообще свойство мысли человъческой, и вст мы обобщаемъ: въ такомъ случать, гдъ же разница между геніемъ и не геніемъ? Очевидно, разница въ томъ, что, въ то время какъ мы обобщаемъ шаблонно, пользуясь давно добытыми и ходячими формулами, - геніи создають новыя обобщенія или совершенствують старыя. Умініе усмотръть вопросъ тамъ, гдъ другіе его не видятъ, или у мъніе искать новыхъ отвётовъ на старые вопросы-это характерная черта, быющая въ глаза особенность геніевъ, которую можно назватъ «творческою пытливостью ума». Не будетъ парадоксомъ сказать, что геніальность есть особый видъ задумчивости. Для генія не столько существенно и характерно нахождение положительныхъ отвътовъ на новые или старые вопросы, сколько «даръ задумчивости», умъніе ставить вопросы и задумываться надъ ними. «Отвѣты» (напр., положительныя открытія въ наукѣ), и при томъ «отвѣты» высокой важности, огромнаго значенія, неръдко получаются умами далеко не геніальными, а только обладающими достаточной подготовкой и работоспособностью въ данной области. Въ точныхъ наукахъ путемъ долговременныхъ, методическихъ и кропотливыхъ изысканій зачастую достигаются блестящіе результаты, дёлаются великія открытія, какихъ не сдёлаеть никакой геній. Если бы наука была монополіей геніевъ, она не далеко ушла бы, и не только потому, что геніевъ—сравнительно мало, а еще болье потому, что научная дъятельность во всёхъ областяхъ изобилуетъ задачами такого рода, что геній оказывается мало приспособленнымъ къ ихъ решенію, задачами, для которыхъ нужны коллективныя усилія многихъ, а также и спеціальные таланты, вовсе не предполагающіе геніальности или даже несовивстимые съ нею. Геній всегда «широкъ», а въ наукъ есть немало такой работы, для удовлетворительнаго исполненія которой нужно быть «узкимъ».— Нетрудно видѣть, что то же самое съ полнымъ правомъ можетъ быть сказано п объ искусствѣ; оно не имѣло бы должнаго развитія, распространенія и вліянія, если бы было монополіей

геніевъ. И въ немъ есть много задачъ и вопросовь, для которыхъ требуется не геніальность съ ея широтою, а спеціальные таланты съ ихъ узостью. Искусство основывается на многообразіи и обиліи наблюденій надъ природой человѣческой и всегда тѣсно связано съ текущими потребностями и запросами культурнаго развитія. Колоссальный складъ «человѣческихъ документовъ», данный въ искусствѣ, могъ быть накопленъ только коллективными усиліями различныхъ художественныхъ дарованій, спеціализировавшихся каждое въ своей области и по необходимости болѣе или менѣе узкихъ и ограниченныхъ.

Эти соображенія приводять нась къ вопросу о принципіальномь различіп между геніемь и талантомь.

Было бы отибочно думать, что геніальность-это только высшая степень талантливости. Какъ есть люди, одаренные огромными талантами, но безъ всякихъ признаковъ геніальности, такъ наобороть, легко можно представить себъ геніальнаго человъка, не надъленнаго никакимъ талантомъ. — Талантъэто нъчто спеціальное: нельзя быть вообще талантливымъ, а только можно имъть опредъленный талантъ въ данной области, причемъ, какъ известно, таланты всегда спеціализируются. Напр., въ искусств мы различаемъ, съ одной стороны таланты поэтическіе, съ другой — живописные, съ третьей — скульптурные, съ четвертой — музыкальные и т. д.; въ каждой изъ этихъ вътвей искусства, въ свою очередь, спеціализація дарованія идеть дальше: различается таланть лирика оть таланта драматурга, талантъ пейзажиста -- отъ таланта жанриста и т. д., и т. д. Такъ же и въ наукъ: есть дарованія спеціально математическія, есть дарованія экспериментатора, наблюдателя-воолога, наблюдателя-соціолога, есть особая одаренность въ лингвистикъ и особая-въ другихъ отдълахъ филологіи и т. д. Изъ этого, конечно, не следуеть, чтобы человекь не могь иметь двухь. трехъ и болве талантовъ, даже въ весьма различныхъ областяхъ. Но это будеть не талантливость вообще, а совм'вщение двухъ или более спеціальныхъ талантовъ.

Весьма нерѣдко (можетъ быть, пожалуй, и въ большинствѣ случаевъ) геніи оказываются обладателями тѣхъ или другихъ спеціальныхъ талантовъ; по въ этомъ совмѣщеніи мы не видимъ признаковъ чнутренней психологической иеобходимости. И, повидимому, сама психологія ума, ода-

реннаго тѣмъ или другимъ талантомъ, по существу отлична отъ психологіи геніальности.—Талантъ и геній—это двѣ весьма различныя, какъ психическія, такъ и психо-физическія организаціи.

Наконецъ, упомянемъ и о томъ, что таланты — наслѣдственны или могутъ быть таковыми, между тѣмъ какъ геній, сколько извѣстно, не передается наслѣдственнымъ цутемъ.

Человъкъ, одаренный извъстнымъ талантомъ (скажемъ, художникъ-пейзажистъ), но не обладающій геніальностью, тъмъ не менье можетъ проявить въ своей дъятельности тъ самыя черты, которыми обычно характеризуется геніальность, именно твор чество и оригинальность. Геніевъ—мало, талантовъ—много, и между послъдними достаточно извъстны во всевозможныхъ областяхъ такіе, которымъ никто не откажетъ въ оригинальности и творчествъ. Оригинально творятъ не одни геніи—на этомъ нътъ надобности настаивать.

Но если таланты—одно, а геніи—другое, то въ чемъ разница между оригинальностью и творчествомъ первыхъ и оригинальностью и творчествомъ вторыхъ?

Первое, что бросается здёсь въ глаза, -- это слёдующее.

Творчество человъка, одареннаго извъстнымъ талантомъ (но безъ геніальности), такъ сказать, адэкватно его таланту: оно объясняется и, если можно такъ выразиться, «исчерпывается» или, лучше, измъряется этимъ талантомъ. Напротивъ, творчество генія, обладающаго извістнымъ талантомъ, далеко не соизмѣримо съ этимъ послѣднимъ и не можеть быть объяснено имъ однимъ. Такъ, напр., математическое дарованіе Лобачевскаго едва ли было значительнье, скажемъ, соотвът-ственнаго дарованія другихъ математиковъ его времени, хотя бы Остроградскаго, а между тёмъ никто изъ нихъ не сдёлаль того, что сдёлалъ Лобачевскій. Пусть даже его дарованіе будеть признано особливо великимъ: все-таки имъ однимъ нельзя объяснить возникновенія въ умѣ этого челов вка геніальной идеи. Не своимъ математическимъ талантомъ, а своимъ геніальнымъ умомъ, геніальною вдумчивостью ума позналь Лобачевскій возможность новаго вопроса тамь, гдё для другихъ, не менте одаренныхъ и сильныхъ математиковъ, никакого вопроса не существовало. Дарованія Дарвина какъ наблюдателя, при всей своей значительности, отнюдь не представияли собою чего-то небывалаго: были зоологи и ботаники

съ неменьшимъ талантомъ наблюденія. ІІ для того, чтобы обосновать идею измѣняемости видовъ, неоднократно выставлявшуюся и раньше, на новыхъ понятіяхъ борьбы за существованіе, подбора и наслѣдственности, обставленныхъ новыми, оригинальными наблюденіями, — очевидно, надо было имѣть еще нѣчто другое, иную творческую силу мысли, особый даръ вдумчивости и проникновенія въ природу данныхъ явленій.

Этотъ характерный признакъ генія, который мы стараемся уловить и описать при помощи выраженій «даръ задумчивости», «вдумчивость», «пропикновеніе», обыкновенно обозначается извістнымъ терминомъ «интуиція».

Желательно было бы пойти ивсколько дальше термина и указать хотя бы предположительно на тв процессы мысли, которые образують исихологическую суть «интунціп».

Повидимому, дѣло сводится здѣсь къ особому укладу безсознательной сферы и ея отношеній къ сознанію. Безсознательная сфера ума, надо думать, у генія отличается не только особымъ богатствомъ идей, но и особою работоснособностью, интенсивною дѣятельностью, направленною на созданіе общихъ идей, на выработку объединяющихъ категорій мысли (у философовъ—общихъ философскихъ принципевъ, у ученыхъ— научныхъ обобщеній, у художниковъ — образовъ и т. д.). Засимъ, очевидно эта сфера обладаеть у нихъ необыкновенною чуткостью или воспріимчивостью, такъ что достаточно мимолетнаго впечатлѣнія, случайнаго наблюденія, бѣглой мысли, промелькнувшей въ сознаніи, чтобы возбудить живую работу въ глубинѣ безсознательнаго.

Наконець, общение или взаимодѣйствие двухъ сферъ такъ организовано, что безсознательное даетъ сознанию преимущественно общія иден, категоріи, формы мысли, которыя всегда. такъ сказать, наготовѣ, всегда къ услугамъ сознанія, и потому то, что воспринимается этимъ послѣднимъ изъ внѣшняго міра, изъ той среды, на которую направлена его дѣлтельность, сейчасъ же получаетъ свое истолкованіе, свое обобщеніе и освѣщеніе въ этихъ формахъ мысли. Такъ, у философа всегда бодрствуютъ широкія, мірообъемлющія точки зрѣнія, у ученаго—научныя идеи, у художника—образы. Это «бодрствованіе» объединяющихъ формъ мысли и есть то, что принято называть интуиціей гонія. Но не слѣдуетъ упускать изъ виду того, что сами этн

формы мысли образують нёчто не только высшее, но и новое: онё—отнюдь не элементарны, не составляють общаго достоянія. Этоть процессь можеть быть разсматриваемь, какъ гомологь аналогичнаго процесса, совершающагося у всёхъ насъ, когда мы говоримь и мыслимь. У всёхъ насъ вёчно бодрствующими категоріями мысли являются основныя формы мышленія и формы рёчи. Геніальность есть повтореніе того же процесса въ области высшаго мышленія, причемъ сами «категоріи» этого высшаго мышленія являются продуктами оригинальной дёятельности безсознательной сферы ума.

Излишне указывать на то, что этой интуиціей работа мысли генія не ограничивается.

Интунція даеть только исходную точку работы; настоящая же работа мысли совершается сознательно, разумъется, при дальнъйшемъ участіи безсознательной сферы. Точки зрънія, идеи, образы и пр., посылаемые этою последнею, фиксируются въ сознаніи, которое подвергаеть ихъ дальнъйшей переработкъ. Идея философа въ томъ видъ, какъ она вышла изъ глубины безсознательнаго, есть, если можно такъ выразиться, сырой продукть, который подлежить сознательному обдумыванію, критикъ, логическому обоснованію, провъркъ данными опыта, внѣшняго и внутренняго. Обобщающая идея ученаго должна быть доказана или согласована съ фактами, она долтодической работы изследованія. Образъ художника требуеть дальнѣйшей разработки, основанной на сознательныхъ наблюденіяхъ и размышленіяхъ. Вотъ именно во всѣхъ этихъ дѣятельностяхъ сознанія и вступаеть въ свои права то, что навывается талантомъ. Философу, чтобы не остаться при однъхъ интуиціяхъ, нужно имъть, кромъ знаній, еще спеціально-философскій таланть, который и скажегся такъ или иначе въ сознательной работъ его мысли. Ученый проявить свой спеціальный таланть въ той работь наблюдателя, экспериментатора, сестематизатора, аналитика и т. д., которая обусловливается самой природой изучаемыхъ явленій. Художникъ долженъ, кромѣ интуитивныхъ идей-образовъ, имѣть спеціальный художественный таланть, необходимый, во-первыхь, для разработки самихъ образовъ, а во-вторыхъ, для ихъ выраженія средствами того или другого искусства (словомъ, красками, лѣнкой и т. д.).

Повидимому, эта сознательная работа, основанная на соотвётственномъ талантё, при нормальныхъ условіяхъ, при успённомъ ходё ея, представляеть собою, количественно и качественно, величину пропорціональную работё интуптивной, т. е. тому, что совершалось въ сферт безсознательной. Чъмъ шире, глубже, значительные пнтупція, тёмъ продолжительные, упорибе, методичите должна быть соотвътствующая ей работа сознанія. Чъмъ выше геній, тёмъ больше онъ трудится. Огромная ученая работа Дарвина прямо пропорціональна значенію и достоинству его интупцій. Кажется, это положеніе можетъ быть проверено и оправдано фактами изъ жизни и деятельности геніевъ на всёхъ поприщахъ творчества.

## II.

Послѣ этихъ предварительныхъ разъясненій и соображеній, мы можемъ прійти къ нѣкоторымъ заключеніямь по занимающему насъ вопросу о вліяній геніальности на всю психику человѣка.

Геніальность, какъ мы ее понимаемъ, не можетъ не играть видной роли на сценъ душевной жизни человъка, а въ особенности—за ея кулисами. Она—сила, и по необходимости такъ или иначе сказывается и дъйствуеть.

И прежде всего сказывается она темъ, что, въ известномъ смысль, раздванваетъ личность человъка. Последній невольно чувствуеть, что онь какъ геній-одно, а какъ человъкъ жизни и будней-уже другое. Интуиція генія-не ко двору среди текущихъ заботъ, тревогъ и злобъ дня, среди «дрязга» жизни, какъ выражался Гоголь, и зачастую въ этой средь положение генія оказывлется ложнымь и неудобнымь. Генію трудно быть хорошимъ обывателемъ, потому что онъ во власти своихъ интуицій, которыя уносять его далеко въ сторону отъ окружающей среды, хотя бы она и была главнымъ объектомъ его думъ и его творчества. Онъ видитъ жизнь сквозь призму своихъ пдей, - и это очень хорошо для созданія «философія» жизни, но очень скверно—для непосредственнаго, активнаго или пассивнаго участія въ ней. Оттуда особое общественное самочувствіе генія, очевидно, не такое, какъ у насъ. Мы въ нашей соціальной стихія - какъ рыба въ водь, они въ ней -чуж і е. Помимо всякихъ стремленій къ протесту, къ реформъ и т. д., геній по самой сути своей въ извѣстной мѣрѣ и въ нѣкоторомъ смыслъ есть существо «антиобщественное»: онъслишкомъ личность, чтобы уживаться въ человъческомъ стадъ, и слишкомъ принадлежитъ человъчеству, чтобы всецълоотдаться определенному целому, ограниченному во времени и пространствъ. Фактически геніи, разумъется, уживаются въ своей средь, но почти всегда такъ, что живутъ уединенно, своей работой, своими интересами, своими думами, -- чуждые, если не всему, то многому, что творится въ этой средв, чемь «живы» окружающіе ихъ люди, что ихъ заботить и волнуеть... Далеко не всегда геніи отдають себф отчеть въ этомъ: часто они сами этого не замъчають, и имъ кажется, будто они тоже участвують въ общей жизни. Иные симулирують это участіе. Другіе стараются войти въ интересы общества или извъстной части его. Но, я думаю, едва ли найдется геній, который бы хоть разъ въ жизни не почувствовалъ фатальнаго, психически-необходимаго разлада съ общественной средой, -- своей отчужденности отъ нея. Оттуда, между прочимъ, предрасположенность генія къ пессимизму разныхъ степеней и оттінковъ, которому вовсе не обязательно непремвно быть философскимъ и систематизированнымъ. Онъ можетъ даже не сознаваться какъ таковой, онъ можетъ быть заслоненъ иною доктриною, но рано или поздно, такъ или иначе онъ скажется, какъ, напр, сказался онъ у жизнерадостнаго Пушкина въстихахъ:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной, Таинственно пробились три ключа: Ключъ юности, ключъ быстрый и мятежный, Бъжитъ, кпинтъ, сверкая и журча; Кастальскій ключъ волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ; Послъдній ключъ – холодный ключъ забвенья,— Онъ слаще всъхъ жаръ сердца утолитъ...

Геній даже при наилучшихъ личныхъ обстоятельствахъчувствуетъ «тяготу бытія», именно «тяготу соціальнаго бытія», въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе люди, даже чѣмъ тѣ, которые по призванію являются критиками общественнаго строя, «отрицателями», реформаторами.

Будучи «слишкомъ личностью» и очень плохимъ «соціальнымъ животнымъ» и потому такъ или иначе чувствуя «тяготу соціальнаго бытія», геній, тімъ не меніе (и даже тів изъ вихъ, которые одержимы настоящимъ пессимизмомъ) живо чувствуетъ радость бытія вообще и является однимъ изъ самыхъ жизнерадостныхъ существъ.

Это противоръчіе, въ значительной мъръ только кажущееся, вытекаеть изъ самей исихологіи геніальности и вносить новыя осложненія въ душевный міръ геніальнаго человъка.

Чтобы это понять, нужно сделать одно добавление къ тому, что выше было сказано о психологическомъ укладе генія.

Въ ряду идей, служащихъ необходимыми формами нашего мышленія, есть одна такая, которой мы въ нашемъ обыденномъ, житейскомъ мышленіи чуждаемся, даже бопися, и она остается у насъ скрытой, лишь изредка проникая въ сознание: это идея безконечнаго. Безъ нея мы не можемъ въ сущности мыслить ни пространства, ни времени. Безъ нея невозможна математика, даже элементарная. Безъ нея (въ формъ тезиса въчности матеріи и силы) невозможенъ простьйшій физическій или химическій опыть. Можно было бы раскрыть ея огромную психологическую важность въ искусствъ. Такъ вотъ именно эта пдея, прячущаяся и ускользающая у насъ, всегда бодрствуетъ у геніевъ, п ихъ интупціи всегда такъ или иначе, прямо или косвенно сопряжены съ нею. Геній мыслить при особливо двятельномъ участін категорім безконечнаго, «sub specie aeternitatis». Излишне пояснять, насколько этотъ типъ мышленія не подходить къ требованіямъ, въяніямъ, духу общественности и повседневности, гдв все-преходяще и условно, гдв нужно жить настояшимъ, котораго съ точки зрвнія ввиности, собственно говоря, не существуеть и которое есть одна изъ иллюзій обыденнаго мышленія <sup>1</sup>).

Идея безконечнаго и является для генія источникомъ особой "радости существованія".

Намъ трудно понять этотъ укладъ сознанія, озареннаго идеей безконечнаго, и этотъ общій строй души, въ которой бодрствуеть особое чувство, намъ едва доступное, — чувство безконечнаго. Но непроходимой пронасти между ними и нами все таки ність: они тоже—люди, а въ

<sup>1)</sup> Настоящее—это неуловимая, всегда уходящая, моментальная грань между прошедшимь и бусущимь. Оно существуеть только въ языкю, образуя одну изъ формъ грамматическаго мышленія.

нашемъ распоряженія—ихъ творенія, по которымъ мы всетаки имѣемъ нѣкоторую возможность представить себѣ хотя бы приблизительно самочувствіе и самосознаніе человѣка, мыслящаго и чувствующаго безконечное. Ихъ душа согрѣта особою радостью существованія, открывающеюся ихъ сознанію подъ видомъ радости творчества. И ею не то уравновѣшивается, не то странно осложняется психологическій пессимизмъ генія. Эту смѣсь радости и скорби мы найдемъ и у Спинозы, и у Канта, и у Шопенгауэра, и у Ренана, какъ съ другой стороны найдемъ ее у геніевъ искусства. Я думяю, и геніи спеціальной науки—Дарвины, Лапласы, Галилеи, Ньютоны— не составляють исключенія изъ этого правила, но они слишкомъ запяты своими изысканіями, и имъ некогда предаваться этимъ чувствамъ и выражать ихъ.

При огромномъ разнообразіи натуръ, характеровъ, темпераментовъ, воспитанія, привычекъ и т. д., общій всёмъ геніямъ укладъ духа разнообразится и видоизмёняется въ различныхъ направленіяхъ. Особенности ума и разные виды дарованія также должны оказывать свое вліяніе на постановку въ душё идеи и чувства безконечнаго, на то, какъ психика реагируетъ на нихъ.

Теперь мы можемъ вернуться къ Гоголю.

### III.

Изучать психологію генія намъ, простымъ смертнымъ, легче и удобнѣе по художникамъ, чѣмъ по философамъ и ученымъ: художники какъ-то ближе къ намъ, понятнѣе намъ, да и творчество ихъ обращено на насъ же и ограничивается человѣческимъ. Если мы изучили и поняли творенія великаго поэта, то намъ уже не такъ трудно отчасти разобраться и въ его душѣ, дешифрировать нъкоторые изъ ея гіероглифовъ.

Натура Гоголя, сама по себѣ загадочная, исполненная противорѣчій и странностей, была осложнена еще безспорною геніальностью, которую нужно отличать отъ его огромнаго хуложественнаго таланта. До сихъ поръ, изучая умъ, натуру, вообще душевный укладъ Гоголя, мы значительно упрощали задачу тѣмъ, что разсматривали его такъ, какъ будто бы онъ не былъ геній. Мы только принимали въ соображеніе его ху-

дожественный таланть. Но мы уже согласились, что таланть это одно, а геній—это другое. И воть именно у Гоголя независимо оть таланта ясно различаются характерные признаки геніальности: исключительная оригинальность въ творчествъ, "даръ задумчивости", изумительная художественная интупція, глубокое проникновеніе во все то, на что были направлены его созерцанія, наконець, столь характерная для генія смѣсь скорби и мизантропіп съ радостью бытія и творчества.

Онъ отнюдь не быль только высоко даровитымъ художникомъ, который умѣетъ смотрьть и видѣть, схватывать и рисовать. Онъ умѣль это дѣлать, но еще больше умѣль онъ вдумываться въ жизпь человѣческую, болѣть ею, претворять ее въ выстраданный внутренній опытъ, въ смѣхъ и слезы художника, въ созерцанія и скорбь мыслителя. И много было въ немъ той «глубины душевной», безъ которой пельзя «озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія». Съ одинмъ талантомъ своимъ, какъ бы онъ ни былъ великъ, онъ не могъ бы «вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами и чего не зрятъ равнодушныя очи,—всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавшихъ нашу жизнь, всю глубину холодныхъ, раздробленныхъ, повседневныхъ характеровъ, которыми кишитъ наша земная, подчасъ горькая и скучная дорога».

«Тина мелочей, опутавшихъ нашу жизнь», «раздробленіе характеровъ», пошлое въ повседневности, «дрязгъ жизни»—вотъ на что были по преимуществу направлены художественныя созерцанія Гоголя, надъ чёмъ чаще всего онъ задумывался и скорбёлъ и что наполняло его душу чувствами мизантропіи, тяготы существованія въ обществѣ, среди людей. Оттуда у него періодически повторявшееся стихійное стремленіе бёжать отъ общества, глубокая потребность уединенія. влеченіе къ своеобразному «отшельничеству». То, что выше мы назвали «антиобщественнымъ» настроеніемъ въ психикѣ генія, проявлялось у Гоголя съ особливою силою и яркостью, почти съ властью инстинкта. И оно обнаруживалось тёмъ опредёлительнѣе, что Гоголь, какъ мы старалась показать это въ главѣ Ш-ей, былъ по натурѣ своей человѣкъ съ особливосильно выраженнымъ стремленіемъ къ осуществленію своей общественной стоимости. Однимъ изъ главныхъ препятствій къ ея осуществленію и являлась, помимо всего прочаго, его ге-

ніальность, или, точнёе, тѣ особенности геніальнаго уклада личности, которыя мёшають человёку быть «хорошимъ обывателемъ», быть надлежащимъ деятелемъ жизни, сформироваться въ величину общественную, имфющую свое опредъленное мъсто и значеніе въ соціальной средь. У нъкоторыхъ другихъ (напр., у Байрона) этотъ стихійный, чисто-психологическій разладъ между геніемъ и соціальною средой заслоняется или преобразуется действиемъ положительныхъ идей, идеаловъ, общественныхъ или политическихъ ученій и т. д., усвоенныхъ геніальнымъ человікомъ и идущихъ вь разрізъ съ данными, установившимися формами общественнаго строя и сознанія. Какъ извъстно, у Гоголя ничего подобнаго не было. Все, что отзывалось «политикой», освободительными идеями вѣка, общественною реформою, было ему чуждо и даже, наряду съ гегеліанствомъ и вообще движеніемъ философской мысли, внушало ему родъ суевърнаго страха. А его морально-религіозные интересы и стремленія были по существу консервативны и сами по себъ не могли привести къ конфликту съ общественной средой, взятой въ ея цъломъ. Такъ называемая «ссора съ соотечественниками» была только частнымъ недоразум вніемъ, нер вдко возникающимъ между сатириками и публикой. И если бы его сатира основывалась только на талантъ «комическаго писателя» и не имѣла бы болѣе глубокаго источника въ интуиціяхъ генія, она не могла бы привести къ тому внутреннему, психологическому разладу, о которомъ мы говоримъ.

Когда происходить открытая, более или менее бурная, «ссора» генія съ обществомъ, тогда, по всей справедливости виноватымъ приходится признать генія: онъ не долженъ давать слишкомъ яркаго и опредъленнаго выраженія своему антиобщественному настроенію, своей мизантропіи, чувствамъ отвращенія къ человеческой пошлости, шаблонности, стадности, ко всему, что составляетъ неотъемлемую принадлежность всякой общественной среды, даже самой передовой и просвещенной. Этотъ порядокъ чувствъ долженъ мирно спать въглубине души генія. Законное выраженіе эти чувства могутъ имёть въ частной переписке, въ мемуарахъ, не подлежащихъ оглашенію при жизни,—но имъ не должно быть мёста въсамомъ творчестве генія. Ибо ихъ по праву можно причислить къ тёмъ душевнымъ движеніямъ, о которыхъ въ главе III мы

сказали, что они имѣютъ свой смыслъ и свою душевную правду, пока они скрыты, но становятся ложью, когда обнаружены. На этомъ основаніи мы считаемъ «ложью», напр., «Чернь» Пушкина, а также и его знаменитый сонетъ «Поэтъ, не дорожи любовію народной», аналогичныя заявленія Гейне въ стихахъ и прозѣ и т. п., вообще всякаго рода откровенныя признанія генія на тему: «Оdi profanum vulgus». Въ этомъ смыслѣ весьма примѣнимо Тютчевское:

Молчи, скрывайся и таи II чувства, и мечты свои...

Надо отдать справедливость Гоголю: его сатира, его смихь отнюдь не дышать презринемь къ роду человическому. Его самомийне, такъ часто дающее знать себя въ письмахъ, почти не находить выраженія въ его творчестви, въ его работи художника. Оно вытекало изъ его личнаго характера, изъ того эгоцентрическаго уклада его натуры, о которомъ мы говорили въ гл. III, оно не было внушеніемъ его генія.

Эти внушенія были у него иныя: они выражались въ бѣгствѣ отъ людей, въ самоуглубленіи, въ пристрастіп къ созерцательной, отшельнической жизни, въ горделивыхъ замыслахъ нравственнаго проповѣдничества, наконецъ, какъ частный случай, въ одной на первый взглядъ странной и «дикой» особенности его душевнаго склада, указаніемъ на которую мы и закончимъ нашъ посильный опытъ психологическаго изученія этого великаго загадочнаго человѣка.

Я имью въ виду ть тайныя душевныя побужденія или стимулы, въ силу которыхъ Гоголь быль въ своемъ родь ко че вникъ, а не осъдлый обыватель,—и которыя у пего, въчнаго странника, являлись могучими пружинами его художественнаго творчества, необходимымъ условіемъ расцвъта его поэтическихъ думъ, кристаллизаціи его художественныхъ замысловъ.

# IV.

«Въ дорогу, въ дорогу!»—таковъ живой лозунгъ Гоголя, и глубокой, личной правдой, настоящимъ исповѣданіемъ поэта звучатъ въ «Мертвыхъ душахъ» страницы, посвященныя описанію «дороги», ея освѣжающихъ впечатлѣній, ея благотворнаго утомленія, ея поэзіи. Всномнимъ знаменитое мѣсто въ XI-ой главѣ I-ой части «Мертвыхъ душъ», начинающееся такъ: «Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное въ словѣ: дорога! И какъ чудна она сама, эта дорога!» Характерно и знаменательно окончаніе этой тирады; «Боже! какъ ты хороша подчасъ, далекая, далекая дорога! Сколько разъ, какъ погибающій и тонущій, я хватался за тебя, и ты всякій разъ меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось въ тебѣ чудныхъ замысловъ, поэтическихъ грезъ, сколько перечувствовалось дивныхъ впечатлѣній»!.. ¹).

Этотъ художественный мотивъ легко комментируется слъдующими выдержками изъ писемъ.

Собираясь заграницу въ 1836 году послѣ неудачи профессорской карьеры и всякихъ непріятностей и нареканій, вызванныхъ появленіемъ «Ревизора», Гоголь, уже восходящая звѣзда русской литературы, писалъ Погодину (10 мая 1836 г. изъ Петербурга): «ѣду заграницу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники... Я не оттого ѣду заграницу, чтобъ не умѣлъ перенести этихъ неудовольствій. Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, разсѣяться, развлечься и потомъ, избравши пѣсколько постоянное пребываніе, обдумать хорошенько труды будущіе. Пора уже мнѣ творить съ большимъ размышленіемъ»...

Здѣсь сквозить стихійное влеченіе— "въ дорогу, въ дорогу". Здѣсь ясно виденъ исихологическій мотивъ, который можно назвать потребностью бѣжать отъ своей общественной среды, окунуться въ другую, чужую, гдѣ можно быть одинокимъ, самимъ собой, гдѣ не будетъ общественныхъ связей и обязательствъ.

Но даже и въ чуждой средъ, гдъ онъ обыкновенно чувствоваль себя достаточно хорошо и могъ творить, имъ овладъвало порою стихійное влеченіе «въ дорогу», которая дъйствовала благотворно даже на его физическое состояніе. Онъ льчился путешествіями. Такъ, въ 1840 г., послъ бользненныхъ припадковъ, постигшихъ его въ Вънъ (на пути въ Римъ), онъ, прибывъ, наконецъ, въ въчный городъ, продол-

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

жаль чувствовать себя нехорошо, и его опять потянуло вы дорогу". Онъ писаль Погодину (17 окт. 1840 г.): «Чьмъ далье, какъ будто опять становится хуже: и льченіе, и медикаменты только растравляють. Ни Римь, ни небо, ни то. что такъ бы причаровало меня, ничто не имьетъ тенерь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. Мнѣ бы дорога теперь, да дорога въ дождь, слякоть, черезъ лѣса, черезъ степи, на край свѣта! 1). Вчера и сегодня было скверное время—и въ это скверное время я какъ будто бы ожиль. Такъ вотъ все мнѣ хотѣлось или броситься въ дилижансъ, или хоть на перекладную» 1)...

Въ письмъ къ Плетневу отъ 30 окт. того же 1840 г., изъ Рима, онъ жалуется: "Геморроидъ мнѣ бросился въ грудь, и нервическое раздраженіе, котораго я въ жизнь никогда не зналъ. произошло во мнѣ такое, что я не могъ ни лежать, ни сидѣть, ни стоять"...—Но, замѣтимъ, могъ отлично путе-шествовать. — "Уже медики, — продолжаетъ онъ, — было махнули рукой, но одно лѣкарство меня спасло неожиданно: я велѣлъ себя положить ветурину въ дорожную коляску, — дорога спасла меня 1). Три дня, которые я провелъ въ дорогѣ, меня нѣсколько возстановили"...

Въ письмъ къ Шевыреву (28 февр. 1843 г., изъ Рима) находимъ въ высокой степени характерныя строки: "Голо ва моя такъ странно устроена, что пногда мив вдругъ нужно пронестись нъсколько соть верстъ и пролетъть разстояние для того, чтобы мънять одно впечатлъние другимъ, уяснить духовный взоръ и быть въ силахъ обхватить и обратить въ одно то, что мив нужно").

Столь же характерно и важно слёдующее мёсто въ письмё къ Плетневу (4 іюля 1846 г.): "Дорога действуеть лучше (леченія холодной водой). Видно на то воля Божья, и мнё нужно, болёе чёмъ кому-лебо, считать свою жизнь безпрерывной дорогой и не останавливаться ни въ какомъ мёстё иначе, какъ на временный ночлегъ и минутное отдохновеніе. Головё моей и мыслямъ лучше въ дорогі; даже я зябну

<sup>&#</sup>x27;) Разрядка моя.

меньше въ дорогѣ, и сердце мое слышитъ, что Богъ мнѣ поможетъ совершить въ дорогѣ все то, для чего орудія и силы во мнѣ доселѣ созрѣвали" 1).
По всему видно, что "дорога" дѣйствовала благотворно

По всему видно, что "дорога" дъйствовала благотворно прежде всего на исихику Гоголя, а потомъ уже, черезъ посредство исихики, и на его физическое здоровье. Мы, кажется, не ошибемся, если въ этомъ оздоровляющемъ дъйствіи будемъ различать двъ стороны: во - первыхъ, стихійное проявленіе слъпого инстинкта, глубоко заложеннаго въ натуръ Гоголя, и во-вторыхъ, утилизацію этого инстинкта въ интересахъ умственнаго и вообще душевнаго благосостоянія, — интересахъ, обусловленныхъ геніальностью Гоголя. Онъ, и не будучи геніемъ, все равно былъ бы "вѣчнымъ странникомъ"; но его геній, если можно такъ выразиться, воспользовался этою особенностью его натуры въ своихъ цѣляхъ и интересахъ.

Постараемся нъсколько ясные представить себы исихологию

той и другой стороны.

Первая сторона, т. - е. самый инстинкть, побуждающій странствовать, обнаруживается въ приведенныхъ выдержкахъ довольно отчетливо. И мы имбемъ всб основанія отнести Гоголя къ числу тёхъ, которыхъ можно назвать "прирожденными путешественниками", "вѣчными странниками", неспособными къ постоянной оседлой жизни на одномъ месте. Такія натуры душевно увядають, когда имъ приходится слишкомъ долго засиживаться на одномъ мъсть, и душевно расцвътають въ странствованіяхъ. Въ народъ сюда принадлежать неисправимые бродяги по призванію, разные "странники" и "паломники"; въ образованномъ обществъ - страстные путешественники, какъ ученые, такъ и не ученые, неугомонные туристы, которымъ не сидится на мъстъ. Инстинкты этого рода должны быть разсматриваемы какъ перерожденное и оживленное психологическое наследіе отъ временъ отдаленныхъ. Таковъ же между прочимъ н инстинкть охотника. Въ душевной экономіи современнаго

<sup>1)</sup> Въ томъ-же 1846 году онъ писалъ Жуковскому: «Весь этотъ годъ я осуждаю себя на странствіе. Лѣтомъ объѣду всю Германію, заѣду въ Англію, которой не знаю, и въ Голландію, которой тоже не видѣлъ; осенью объѣду Италію, зимою — берега Средиземнаго моря, Сирію, Грецію, Іерусалимъ»...

человъка этого рода наслъдія старины получають своеобразную постановку, сочетаясь съ другими сторонами натуры, съ особенностями характера или ума. Въ этомъ видь инстинктивное влеченіе, напр., къ охоть, къ путешествіямъ является живою душевною потребностью, удовлетворение которой безусловно необходимо для поддержанія душевнаго равновъсія человъка, для его, какъ физическаго, такъ и психическаго благополучія. Нередко на такихъ инстинктахъ основывается и то, что мы называемъ «призваніемъ» человіка. Очень віроятно, что, напр., военное призвание Суворова, Наполеона I и т. д. было по препиуществу обосновано на соответственномъ инстинктв. И любопытно въ разныхъ случаяхъ этого рода наблюдать заблаговременное, наивное, ребяческое выражение инстинктивныхъ влеченій въ играхъ ребенка, въ неясныхъ стремленіяхъ или мечтахъ юноши. Это мы видямъ у Гоголя въ его первомъ литературномъ оцыть, въ пресловутой поэмь "Гансъ Кюхельгартенъ", гдв неумьло и аляповато, дубовыми стихами, воспроизведено все то же стремление въ чужие края, все та же страсть къ путешествіямъ. Первая побздка Гоголя заграницу въ 1829 г. на деньги, которыя онъ должень быль внести въ опекунскій сов'ьть, была какъ бы повтореніемь или перенесеніемь вь действительность мотива, выраженнаго въ юношескомъ сочинении. Сочинение это Гоголь сжегь, но не могь удержаться отъ соблазна самому разыграть роль своего героя.

Въ душевномъ состояни Гоголя, выразпвшемся въ этой первой его повздкв за границу, очень и очень трудно разобраться, потому что важивйший документь, сюда относящися (письмо къ матери отъ 24 юля 1829 г.), исполненъ юношеской реторики и также разныхъ выдумокъ. Такъ, между прочимъ, онъ ссылается здвсь на несчастную любовь, въ силу которой будто бы ему необходимо было бвжать заграницу. Ничего подобнаго не было, и Гоголь сочинилъ всю эту исторію 1). Въ другомъ письмв (изъ Любека, 13 авг. 1829 г.) онъ уже выставляетъ другой мотивъ—бользнь и необходимость льчиться водами, но и это оказывается ложью 2). Но есть одно,

<sup>2)</sup> Гоголь пишеть, что у него обнаружилаеь сынь. По свядьтельству А. С. Данилевскаго, никакой сыпи не было, и Гоголь поахаль не льчиться, а думаль совсамь уфхать въ Америку.

что можно распознать во всемъ этомъ сцеплени реторики, выдуманныхъ мотивовъ и прямой лжи: это именно стихійное, безотчетное, фатальное стремленіе въ дорогу», въ чужіе края, живая, настоятельная потребность «провздиться», совершить путешествіе безъ опредъленной цьли, безъ ясно сознанной задачи. «Дорога» была сама по себѣ цѣлью, а въ такой безцѣльности поступковъ и сказывается действие инстинкта. Но послушаемъ, какъ онъ въ вышеуказанномъ письмѣ (24 іюля 1829 г.) пзображаеть свое душевное состояніе, стараясь мотивировать свой поступокъ: «Теперь, собираясь съ силами писать къ вамъ, не могу понять, отъ чего перо дрожить въ рук моей; мысли тучами налетають одна на другую, не давая одна другой мъста, и непонятная сила нудить и вмёстё отталкиваеть ихъ излиться предъ вами и высказать всю глубину истерзанной души»... Дъло въ томъ, что онъ разочаровался въ возможности для себя устроиться на служов въ Петербургв такъ, чтобы это доставляло ему должное внутреннее удовлетворение и отвъчало его честолюбивымъ помысламъ. Свои неудачи и разочарованія онъ приписываетъ тому, что, стремясь устроиться въ Петербургѣ, на службѣ, онъ «воспротивился» нѣкоторому внушенію свыше, стихійному влеченію въ чужіе края, вложенному въ его душу самимъ Богомъ. И вотъ теперь Господь наказываетъ его... Этимъ наказаніемъ и послужила «несчастная любовь». «Я чувствую, восклицаеть онъ, - налегшую на меня справедливымъ наказаніемъ тяжкую десницу Всемогущаго. Но какъ ужасно это наказаніе! Безумный! Я хотъль было противиться этимъ в в чнонеумолкаемымъ желаніямъ души <sup>1</sup>), которыя одинъ Богъ вдвинулъ въ меня, претворивъ меня въ жажду, ненасытимую бездейственною разсъянностью света. Онъ указалъ мнѣ путь въ землю чуждую 1), чтобы воспиталъ свои страсти въ тишинъ, въ уединеніи, въ шумъ въчнаго труда и дъятельности, чтобы я самъ по нъсколькимъ ступенямъ поднялся на высшую, откуда бы быль въ состояни разсвивать благо и работать на пользу міра». Все это не ложь, а только реторика, по-своему правдиво воспроизводящая внутреннюю реторику приподнятыхъ душевныхъ состояній юноши, богатаго духовными силами, дающими чувствовать себя, и съ огромнымъ, но пока темнымъ, невъдомымъ призваніемъ. Если мысленно устранимъ

<sup>1)</sup> Разрядка моя.

это риторическое движение души, то въ ез глубинь обнажится "голый" факть инстинктивнаго влечения къ странствованиямъ, къ перемънъ мъста и впечатлъний,—влечения, въ силу особыхъ обстоятельствъ пробудившагося и заявившаго о себь въ данное время съ необычайной силой.

Впосльдствій, въ "Авторской исповьди" (1847 г.) онь вспоминть объ этомъ энизодь. Здысь мы находимъ слыдующую попытку объяснить и осмыслить свое стихійное влеченіе къ странствованіямъ за предылами отечества. "Мое разстроившееся здоровье и вмысть съ нимъ маленькія непріятности, которыя я бы теперь перенесъ легко, заставили меня подняться въ чужіе края. Я никогда не имыль влеченія и страсти къ чужимъ краямъ (?). Я не имыль также того безотчетнаго любопытства, которымъ бываеть сныдаемъ юноша, жадный впечатлыній"...

Это—неправда. Влеченіе перенестись въ чужіе края въ немъ несомивно было, равно какъ п "безотчетное любонытство" юноши. Стоитъ только пробвжать его письма, писанныя имъ во время первой повздки (изъ Любека, Гамбурга и другихъ мъстъ), чтобы убъдиться въ этомъ: очутившись за границей, онъ именно съ "безотчетнымъ любопытствомъ" осматриваетъ германскіе старинные города съ ихъ готическими храмами, узкими улицами, уносящими воображеніе въ средніе въка; его занимаютъ и правы, и костюмы жителей, на все смотритъ онъ широко открытыми глазами юноши, "жаднаго впечатльній", и подробно описываетъ все видънное въ живыхъ и яркихъ очеркахъ. Письма эти вообще принадлежатъ къ числу лучшихъ, наиболье "свъжихъ" и содержательныхъ въ огромной коллекцій писемъ Гоголя.

"Но, странное дёло! даже въ дётствё, даже во время школьнаго ученія, даже въ то время, когда я помышляль только объодной службі, а не о писательстві, мні всегда казалось, что въ жизни моей мні предстоить какое-то большое самопожертвовавіе и что именно для службы моей отчизні я должень буду восинтаться гді-то вдали оть пел. Я не зналь, ни какъ это будеть, ни почему это нужно; я даже не задумывался объ этомь, но видіяль самого себя такъ живо въ какой-то чужой землі тоскующимь по своей отчизні, картина эта такъ часто меня преслідовала, что я чувствоваль отъ нея грусть 1). Быть можеть, это было просто то непо-

<sup>1)</sup> Разрядка мол

нятное поэтическое влеченіе, которое тревожило иногда и Пушкина, 'вхать въ чужіе края единственно за тімь, чтобы, по выраженію его,

Подъ небомъ Африки моей Вздыхать о сумрачной Россіи.

"Какъ бы то ни было, но этс противовольное мнѣ самому влечение было такъ сильно 1), что не прошло ияти мѣсяцевъ по прибытіи моемъ въ Петербургъ, какъ я сѣлъ уже на корабль, не будучи въ силахъ противиться чувству, мнѣ самому непонятному" 1).

Какъ въ 1829 году истинный мотивъ-стихійное влеченіе къ странствованіямъ-пробивался сквозь реторику и выдумки, такъ и здёсь пробивается онъ наружу сквозь тё толкованія, которыя были внушены Гоголю его теперешнимъ положеніемъ и встмъ ходомъ его творчества за истектія послт потядки 1829 года 18 лътъ. На этотъ разъ инстинктъ въчнаго странника быль заслонень и перетолковань не будущимъ неизвъстнымъ призваніемъ юноши, какъ тогда, а уже совершившимся и выяснившимся призваніемъ великаго національнаго поэта-сатирика. Теперь его первая повздка за границу явилась для него самого-въ новомъ свътъ: ему теперь казалось, что тогда онъ повхаль въ чужіе края, движимый твмъ стихійнымъ стремленіемъ художника — созерцателя Руси изъ прекраснаго далека, которое проявилось позже, въ его последующихъ странствованіяхъ. Такъ и въ нікоторыхъ изъ вышеприведенныхъ выдержекъ изъ писемъ весьма опредъленно сказывается рядомъ съ "органическою" потребностью странствовать также и поэтическая потребность художника, которому необходимы новыя впечатленія и котораго умъ въ дороге пробуждается къ творчеству.

Но тоть же инстинкть "вѣчнаго странника" съ годами сочетался и съ другими душевными стремленіями и запросами, которыми и перетолковывался въ другую сторону. Въ письмахъ мы находимъ указанія на то, что "дорога" была нужна ему не только какъ художнику, но и какъ человѣку, занятому "своимъ душевнымъ дѣломъ"; она является однимъ изъ орудій его "самовоспитанія". «Странствованія» упоминаются рядомъ съ «уединеніемъ», «отлученіемъ отъ міра», самоуглубленіемъ, молит-

<sup>1)</sup>Разрядка моя.

вами. Повидимому, «въ дорогь», отвлекаясь отъ разсьянія будней, оть «дрязга» жизни, онъ «собиралъ» свою душу, -и она настраивалась не только на высоко-поэтическій, но и на высоко-религіозный ладъ. Гоголь-непосъда, Гоголь- странствующій поэть, вь то же время быль и своеобразнымь религіознымъ странникомъ и, при все усиливающейся наплонности къ крайней мистикъ, онъ уже готовъ быль превратиться въ настоящаго паломника. Его путешествие въ Палестину было именно паломничествомъ въ тесномъ смысле слова, и въ этой поряжив наст поражаеть отсутствие всякихъ проявлений художественныхъ силъ Гоголя, - точно въ немъ умеръ великій хуложникь и даже притупилась его наблюдательность и впечатлительность туриста. По всему видно, что онъ весь быль поглощень одной идеей, однимь могучимь порывомь къ покаянію, къ исповъзанію, къ очищенію души своей у Гроба Гос-...RHIOII

Такъ проявлялся, такъ дъйствовалъ, служа другимъ, высшимъ сторонамъ и стремленіямъ души, поэтическимъ, религіознымъ, глубоко коренившійся въ душѣ Гоголя слѣпой инстинктъ «вѣчнаго странника».

Не менье важныя услуги оказываль тоть же инстинкть самому генію Гоголя. Постараемся очертить ихъ, какъ умъемъ.

1.

Если бы, предположимъ, Гоголь лишенъ былъ возможности путешествовать и вель бы осѣдлый образъ жизни въ Петербургѣ или Москвѣ, то и въ такомъ случаѣ его огромное художественное дарованіе не могло бы не проявиться такъ или иначе: онъ наблюдалъ бы жизнь, улавливалъ бы ея ти пическія черты и воплощалъ бы ихъ въ художественные образы, нарисованные съ большимъ или меньшимъ искусствомъ. Но навѣрное можно утверждать, что это творчество не было бы отмѣчено печатью той изумительной геніальности, какою проникнуто величайшее твореніе Гоголя — «Мертвыя души». Геніальность этой безсмертной книги, т. е. необычайная вдумчивость, оригинальность интунцій, глубипа созерщаній, въ ней проявившіяся, паходились въ тѣснѣйшей исихологической связи съ странствованіями Гоголя, съ благотворнымь воздѣаствіемъ «дороги» на его умъ и всю исихику. Въ «до-

рогѣ» онъ становился мыслителемъ, созерцателемъ, —и непосредственныя впечатлѣнія дѣйствительности, отъ которыхъ онъ бѣжалъ, перерабатывались въ глубинѣ его безсознательной сферы силою его геніальной интуиціи. Глубокою душевною правдою дышатъ тѣ мѣста его писемъ, гдѣ онъ говоритъ, что ему, для того, чтобы «оглянуть» Россію со всѣхъ сторонъ и понять ее, необходимо сперва изъѣздить всю Европу.

Когда у него идеть рычь о его художественныхъ созерцаніяхъ, о томъ, что мы называемъ «задумчивостью» генія, онъ обыкновенно рисуеть картину странствовавія. Такъ это въ VI главѣ 1-й части «Мертвыхъ душъ». Вспомнимъ эту чудную страницу, начинающуюся такъ: «Прежде, давно, въ лѣта моей юности, въ лѣта невозвратно мелькнувшаго моего дѣтства, м н ѣ бы л о весело подъ ѣ з ж а тъ въ первы й разъ къ незнакомом у м ѣ с т у ¹)...» Заканчивается это поэтическое отступленіе такъ: «Теперь равнодушно подъ ѣ з жа ю ко всякой незнакомой деревн в и равнодушно гляжу на ея ношлую наружность; моему охлажденному взору не пріютно, мн ѣ не см ѣшно, и то, что пробудило бы въ прежніе годы живое движеніе въ лицѣ, см ѣ хъ и немолчныя рѣчи, то скользитъ теперь мимо, и безучастное молчаніе хранять мои недвижныя уста. О, моя юность! О, моя св ѣ жесть»!

«Живое движеніе въ лиць, смьхъ и немолчныя рьчи»— это проблески той геніальности, еще молодой, еще не созрывшей, которая въ первыхъ произведеніяхъ Гоголя только угадывается, только подозрывается. «Безучастное молчаніе недвижныхъ устъ»— это какъ бы намекъ на иную «задумчивость», на сокровенную работу мысли генія, уже богатаго опытомъ жизни, уже воспитавшагося въ сосредоточенномъ развитіи долгихъ, затаенныхъ думъ, которыя не спытать проявиться въ «смыхы» и «немолчныхъ рычахъ», но которыхъ дыствіе такъ ярко скажется въ послыдующемъ творчествь.

Образъ «писателя-путника» быль однимъ изъ любимыхъ оборотовъ у Гоголя, — и знаменитое лирическое отступленіе о двухъ писателяхъ въ началѣ главы VII-й открывается этимъ сопоставленіемъ: «Счастливъ путникъ, который послѣ длинной, скучной дороги... видитъ, наконецъ, знакомую крышу»... Противопоставляя «двухъ писателей» и ихъ различный «удѣлъ»,

<sup>1)</sup> Курсивъ мой.

онь такь заканчиваеть изображение участи поэта пошлыхь сторонь жизня: «Безь разділенія, безь отвіта, безь участія, какъ безсемейный путникъ, останется онь одинь посреди дороги»...

Засимь, обращаясь из себь, онь говорить: «И долго еще опредълено мив чудною властью идта объ руку съ монми странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный міру сміхь и незримыя, невідомыя ему слезы! И далеко еще то время, когда инимъ ключомъ грозная выога вдохновенія подымется изь облеченной вы священный ужась и въ блистание главы, и почують въ сичщенномь трепеть величавый громь другихъ рычей ... - Такъ заканчивается знаменитое «лирическое отступленіе», - и, возвращаясь къ прерзанному разсказу о похожденіяхъ Чичикова, поэть намычаеть этоть переходь кь обычному пути своего творчества характернымь восклицаніемь: «Въ дорогу! въ дорогу! Прочь набъжавшая на чело морщина и строгій сумракъ лида! Разомь и вдругъ окунемся въ жизнь со всей ея беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотримъ, что делаеть Чичиковъ».

«Дорога» была однямь изъ необходимыхъ условій созданія «Мертвыхъ душъ». Замысель, идею, типы, картины великой поэмы Гоголь возпль съ собою по всей Европъ. Начавъ въ Иетербургь, онь продолжаль работу надь «Мертвыми душами» въ Швейцарін, въ Веве, потемъ въ Парижь, потемь въ Рямь. гдь, съ ивсколькими перерывами для повздокъ по Европъ и въ Россію, и была окончена въ 1841 году первая часть «поэмы». Можно сказать, «Мертвыя души» были созданы въ «дорогь» и написаны «на бивуакахь». Это инчуть не мъшало ингенсивному труду разработки, отделки, неоднократнымъ передълкамъ, тому сознательному методическому труду, который, какъ мы указали выше, пропорціоналенъ глубнив и достоинству интуптивныхъ идей генія. Краснорфчивымъ свидітельствомъ этого труда являются рукониси Гоголя. Необычайная добросовъстность и трудолюбіе Гоголя, какъ художника, неодно кратно передълывающаго каждую сцену, вникающаго во всв подробности, служить нагляднымь міриломь той другой, интунтавной работы его мысли, которая созидалась «вы дорогь», когда онъ удальноя оты непосредственных в наблюдений нады русскою дыйствительностью и среди мимо бытущихъ, не раздражающихъ, не

застаивающихся впечатльній путника соверцаль творческимь воображеніемь картины русской жизни, вперяя задумчивый взорь вь ея суть, вь ея характерную складку, въ смысль ея явленій, въ психологію русскихъ характеровь, въ своеобразную поэзію русской природы и жизни. Много, много «родилось» туть «чудныхъ замысловъ» и «поэтическихъ грезъ», которые потомъ кристаллизировались въ монументальные типы и художественныя картины «Мертвыхъ душъ».

«Дорога» и была для Гоголя той лабораторіей, гдѣ совершались эти художественные эксперименты.

Именно какъ художнику-экспериментатору, и необходима была ему «дорога»—для осуществленія его художественныхъ интуицій.

Характерная, индивидуальная особенность художественныхъ интупцій Гоголя легко опредѣляется его же собственными выраженіями: «видный міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя ему слезы», сквозь которыя онъ «озиралъ» «громадно-несущуюся жизнь». И въ самомъ дѣлѣ: «смѣхъ» — налицо; онъ входить органическимъ звеномъ въ самые образы — Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Коробочки, Плюшкина, прокурора, Селифана, Петрушки, дамъ, мужиковъ, Тентетникова, генерала Бетрищева, Пѣтуха... Всѣ эти фигуры обращены къ читателю своей смѣшной стороной. А сколько смѣху въ отдѣльныхъ картинахъ и картинкахъ, во вводныхъ лицахъ и сценахъ, въ миніатюрахъ, которыми такъ щедро украшена «поэма», въ повѣсти о капитанѣ Копейкинѣ въ притчѣ о Кифѣ Мокіевичѣ! Смѣхъ повсюду, съ начала до конца: «громадно-несущаяся жизнь» развертывается предъ нами—озаренная и объясненная «смѣхомъ».

Но гдъ же слезы?

Развѣ въ образахъ Чичикова, Манилова, Коробочки, Собакевича, Ноздрева и т. д. и т. д. замѣтны хоть малѣйшіе слѣды «слезъ» художника? Развѣ гдѣ-нибудь въ великой поэмѣ слышится скорбъ художника-мыслителя? Гдѣ, на какой страницѣ «поэмы», скорбимъ и плачемъ мы вслѣдъ за художникомъ?

Нѣтъ такой страницы, — да и рѣчи не можетъ быть о скорби --- по поводу Чичикова, Ноздрева, Коробочки и т. д. «Слезы», пролитыя надъ ними, имѣли бы неожиданнымъ результатомъ опять-таки смѣхъ, только на сей разъ ужъ не художественный.

Итакъ, въ самомъ дёлѣ, «смѣхъ» виденъ, а слезы остаются «незримыми, невёдомыми міру».

Вотъ именно въ этомъ-то, въ этой незримости, сокровенности слезъ и скорби и заключается характерная особенность геніальнаго творчества Гоголя. Въ «лабораторіи» его художественныхъ экспериментовъ «слезы» испарялись, «скорбь» переходила въ скрытое состояніе, а смѣхъ комическаго писателя перерабатывался изъ обыкновеннаго въ тотъ «высшій восторженный смѣхъ», который «достоинъ стать рядомъ съ высокимъ лирическимъ движеніемъ».

Но присутствіе «незримых» слезь» и скорби въ скрытомъ, потенціальномъ состояніи, какъ могучихъ пружинъ творчества, какъ необходимыхъ спутниковъ созерцаній Гоголя, явствуеть, однако, изъ того, что «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую изъ презрѣнной жизни, и возвести ее въ перлъ созданія», а эта глубина душевная, которой никто, конечно, не станетъ отрицать у Гоголя, должна была, по самому существу дѣла, заключать въ себѣ и «слезы» и «скорбь».

«Скорбь» накоплялась среди «дрязга» жизни, осѣдая подъ гнетомъ непосредственныхъ впечатланій русской дайствитель ности. Но это отнюдь не была идейная скорбь гражданина, та, которую испытывали Бълинскіе и Герцены. Гоголю этотъ родъ скорби быль чуждь. Тягостныя душевныя состоянія, которыя онъ испытываль, живя въ Россіи. его «незримыя, невъдомыя міру слезы», были явленіемъ особаго порядка, ничего общаго не имъвшимъ съ «гражданскою скорбью». С. Т. Аксаковъ очень мътко охарактеризоваль специфическую «скорбь» Гоголя, сказавъ, что, въроятно, у него мозгъ и нервы были устроены не такъ, какъ у другихъ, и «содрогались» отъ причинъ, намъ неизвъстныхъ. Именно такое «содроганіе» и нервовъ, и души я имълъ въ виду выше, говоря о той тяготъ душевной, о той мизантропіи, о томъ своеобразномъ пессимистическомъ и антиобщественномъ настроеніи, которыя представляются обычными признаками психологів генія. И весьма въроятно, что суть дъла сводится здъсь въ концъ концовъ пменно къ особому устройству нервно-мозговой системы, реагирующей на впечатленія съ особливою, и притомъ болезненною, чуткостью. II «скорбь», которая въ силу этого отла-гается въ душћ, есть не идейная скорбь гражданина, а родъ

психической боли—если можно такъ выразиться, родъ «душевной тошноты»...

Удалиться тёмъ или другимъ способомъ или спрятаться отъ воздёйствій, вызывающихъ душевную боль и «тошноту», является у геніевъ глубокою душевною потребностью, и, какъ извёстно, всё они удаляются или прячутся—кто въ философію, кто въ науку, кто въ искусство...

Для Гоголя лучшимъ способомъ удаленія отъ жизни являлась «дорога»; она же и была излюбленною «лабораторією» его творчества.

«Въ дорогѣ» утихала его душевная боль, и тѣ самыя впечатлѣнія, которыя вызывали «боль и тошноту», превращались въ безразличные, безобидные объекты творчества.

Здёсь пробуждалось и действовало въ его душе то, что выше мы назвали идеею или чувствомъ безконечнаго. Въ искусствѣ оно проявляется не такъ, какъ въ философіи и наукѣ: въ послѣднихъ оно—отвлеченно, оно—понятіе, чистая идея; въ первомъ оно пріурочивается къ конкретнымъ образамъ и картинамъ, которые, будучи типичными, т. е. обобщая неопредъленное количество («энное» число, сказалъ бы математикъ) явленій жизни челов вческой, открывають созерцанію поэта обширныя перспективы, теряющіяся вдали, куда взоръ уже не проникаеть. Вотъ Коробочка: это перспектива неопределенно большого ряда такихъ натуръ, такихъ бытовыхъ образовъ. Ихъ число въ концъ-концовъ, разумъется, ограничено, а не безконечно; но его нельзя учесть, его нельзя установить; нельзя указать, гдв именно оканчивается этотъ рядъ; ибо образъ, созданный Гоголемъ, такъ шпрокъ, такъ типиченъ, что объемлетъ не только современныхъ ему, дореформенныхъ Коробочекъ, но и пореформенныхъ, и не только русскихъ, но и нъмецкихъ, и французскихъ, и т. д.; онъ простирается и на грядущихъ Коробочекъ, и не только на тъхъ, которыя въ самомъ дълъ явятся, но и на всъхъ воображаемыхъ Коробочекъ, какихъ только мы можемъ представить себъ. Итакъ, рядъ уходитъ въ безконечность. не космическую, конечно, а человъческую, психологическую: это — представленіе «неопредъленно — большого», которое п с ихологически эквивалентно идей безконечности, потому что не видать конца этому «неопредъленно-большому»

Эта исихологическая, челов'вческая форма безконечнаго присуща всякому истинно-художественному образу.

Создатель образовъ Чичикова, Манилова, Собакевича, Ноздрева, Илюшкина, Коробочки и др. созерцалъ и чувствовалъ это «безконечное» въ цёломъ рядё бытовыхъ и исихологическихъ перспективъ, соотвётствующихъ этимъ именамъ.

Получался эффекть или иллюзія вь род'в той, какая всегда необходима вь пейзажів, вь картинахы степя, моря: аллея, все суживающаяся и теряющаяся въ дали, море, сливающееся съ небомь, степь, грани которой ускользають отъ взора.

Все человьческое, психологическое, бытовое, историческое даеть неисчерпаемый матеріаль для созданія этихь перспективь, которыя мы можемь назвать «художественными иллюзіями безконечнаго». Настоящій художникь это—тоть, кто созерцаеть мірь человьческій въформахь этихь иллюзій. Иначе говоря: создавая образь или картину, художникь созерцаеть ими неопредъленно огромный рядь явленій, кажущійся безконечнымь.

Весьма разнообразны у различныхъ художниковъ самые способы этого созерцанія, его психологическій характерь и порядокъ сопутствующихъ чувствъ. Но, думается, можно было бы различать здёсь два типа художниковь: одни созердають, если можно такъ выразиться, архитектурно, другіемузыкально. У первыхъ живъе сказывается, въ ихъ созерцаніяхъ жизни сквозь призму образа, чувство стройности, архитектурности въ построении этого образа, въ его симметрическомъ отношенія къявленіямъ, которыя въ немъ находять свое обобщение и истолкование. У вторыхъ живве проявляется, въ твуъ же созерциніяхъ, чувство движенія, къ которому примінимы выраженія Гоголя о «дорогь»: въ немъ есть что-то манящее п несущее, какъ есть оно-въ музыкъ. Созерцание обобщеннаго въ художественномъ образъ ряда явленій, кажущагося безконечнымъ, родить въ душів представленіе и чувство чего-то вічно движущагося, каллейдоскопически маняющагося, какого-то человъческаго океана, съ въчнымъ прибоемъ волиъ, съ въчноколеблющеюся, разнообразно-искрящеюся поверхностью.

Гоголь безспорно принадлежаль къ этому второму типу художниковъ.

Жизнь, которую онь созерцаль сквозь призму своихъ обра-

зовъ, представлялась ему «громадно-несущеюся». И чувства, которыми сопровождались его творческія созерцанія, могуть быть охарактеризованы тёми красками, которыми въ концѣ І-ой части «Мертвыхъ душъ» изображено пристрастіе «русскаго человѣка» къ «быстрой ѣздѣ». Вспомнимъ: «Ея ли не любить, когда въ ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, невъдомая сила подхватила тебя на крыло къ себъ, и самъ летишь, и все летить: летять версты, летять навстръчу купцы на облучкахъ своихъ кибитокъ, летить съ объихъ сторонъ лъсъ съ темными строями елей и сосень, съ топорнымъ стукомъ и вороньимъ крикомъ, летитъ вся дорога невъсть куда въ пропадающую даль; и что-то страшное заключено въ семъ быстромъ мельканіи, гді не успівваеть означиться пропадающій предметь: только небо надъ головою, да легкія тучи, да продирающійся м'ясяцъ одни кажутся неподвижны. Эхъ, тройка, птица-тройка»!..

Въ эгихъ строкахъ лирически сказалось то головокружительное чувство движенія, которымъ сопровождалось творчество Гоголя.

Здёсь дано живое выражение тому, что Бѣлинскій называль паносомъ поэта.

Павосъ Гоголя—разгулъ воображенія, полетъ поэтической мысли, удаль художественныхъ замысловъ. И онъ ярко обнаруживается не только въ лирическихъ мѣстахъ, въ родѣ приведеннаго, но и въ самой работѣ художника, въ структурѣ образовъ, въ техникѣ рисунка, гдѣ такъ много движенія, въ быстрой смѣнѣ картинъ, въ быстрыхъ ударахъ кисти, во всѣхъ пріемахъ изображенія, не дающихъ читателю времени опомниться и влекущихъ его все дальше и дальше.

Въ безсмертной «поэмѣ», можно сказать, все движется, все несется и исчезаеть въ дали, оставляя впечатлѣніе «громадно-несущейся жизни», чему нисколько не мѣшаетъ сознаніе пошлости этой жизни,—жизни Чичиковыхъ, Маниловыхъ, Собакевичей, Коробочекъ...

## VI.

Осложненная геніальностью, натура Гоголя, сама по себѣ противорѣчивая и загадочная, являеть картину особливо-сложной, причудливо-своеобразной душевной жизни.

Можно сказать, его геніальность находилась въ вопіющемъ

противорѣчій съ важиѣйшими, наисильнѣе выраженными сторонами его натуры и особенностями его ума.

И въ самомъ дълъ, геніальный укладъ духа, по самому существу своему, плохо ладить съ твив крайнимъ эгоцентризмомъ натуры, какой мы видимъ у Гоголя. Геній всегда стремится, если можно такъ выразиться, выйти изъ предвловъ своей личности, онъ живетъ и дышитъ всеобщимъ, онъ ищетъ широкихъ горизонтовъ, всеобъемлющихъ созерцаній, — и ему тёсно и душно въ узкой сфер'є личной душевной жизни, какъ бы его психика ни была глубока и богата содержаніемъ. Быть замкнутымъ въ себі, вічно носиться со своимъ «я», быть подъ его неусыпнымъ падзоромъ и гнетомъ-эта доля, тяжкая и бользнетворная для всякаго человька, вдеойнь тяжела и мучительна для генія. Гоголь, какъ натура різко-эгоцентрическая, и Гоголь, какъ великій геній, это были дв души, фатально свизанныя между собой п в в чностремившіяся оторваться другь отъ друга. И великій поэтъ могъ бы съ полнымъ правомъ сказать о себт то, что говорить Фаусть у Гете:

> Zwei Seelen wohnen,—ach!—in meiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen...

Столь же плохо ладила геніальность Гоголя съ его стремленіемъ и его живою потребностью осуществить свою общественную стоимость, о чемъ мы подробно говорили въ гл. III-ей. Геніальность съ ея антнобщественнымъ п мизантропическимъ настроеніемъ является весьма серьезнымъ-внутреннимъ-препятствіемъ къ осуществленію общественной стоимости человька. Плохой обыватель, недисциплинированный рядовой соціальной жизни, неспособный идти въ ногу съ другими, ненавистникъ стадныхъ чувствъ и общественныхъ шаблоновъ, геній, въ своихъ стремленіяхъ къ осуществленію общественной стоимости, является прирожденнымъ кандидатомъ въ «неудачники». И если онъ все-таки занимаетъ свое мъсто въ обществъ, осуществляетъ такъ или иначе свою общественную стоимость, то это происходить-несмотря на геніальность, вопреки ей и благодаря либо счастливому случаю, либо какимъ-нибудь спеціальнымъ талантамъ или особымъ качествамъ его ума, которыя оказались нужными и полезными данной общественной средь.

Для Гоголя, какъ человѣка съ живыми общественными стремленіями, съ неугасимой жаждой—стать единицею въ своей средѣ, проявить свою личность въ ней, найти удовлетвореніе своему честолюбію,—его геніальность была лишнею обузой, крайне затруднявшею рѣшеніе и безъ того трудной личной задачи.

Наконецъ, коренныя черты ума Гоголя находились въ вонющемъ противоръчи съ геніальностью этого ума. Геніальность мысли не уживается съ темнотою и отсталостью ума. Жажда умственнаго свъта, радость познанія, стремленіе къ внутренней свободь, глубокая потребность мысли—стряхнуть старыя оковы, расправить крылья и унестись впередъ, въ неизвъданную даль новыхъ стремленій, новыхъ дерзновеній ума человъческаго—вотъ характерныя, быющія въ глаза черты генія. Онт были и у Гоголя, поскольку онт быль геній. Но снъ, какъ умъ, въ то же время отличался и иными качествами: онт боялся мысли, онт отворачивался отъ свъта, отъ радостей познанія, онт быль лт и въ—учиться и совер шенствоваться,—его умъ, огромный, проницательный и тонкій, страдаль какою-то странною неподвижностью и свътобоязнью. Это внутреннее — психологическое — противорты между указанными особенностями его ума и его геніальностью было причиной того умственнаго разлада съ самимъ собой, который составляль одну изъ видныхъ сторонъ сложной душевной драмы и общей неуравновъшенности этого великаго человъка. Крылья его генія были подръзаны...

Съ однимъ только необыкновеннымъ художественнымъ дарованіемъ Гоголя его геній находился въ полной гармоніи.

Мы рѣшительно отвергаемь извѣстное воззрѣніе на геніальность, какъ на родь душевной бользни; но мы думаемъ, что, при наличности разлада между геніальностью человѣка и другими сторонами его натуры, геніальность является какъ бы психическимъ бременемъ, иногда неудобоносимымъ, нарушаетъ внутреннее равновѣсіе и служить источникомъ особыхъ томленій и мукъ, которыя могутъ вредно огозваться на общемъ душевномъ здоровъѣ человѣка.

Такую именно картину мы и находимъ у Гоголя.

Изученіе душевной исторіи Гоголя съ этой стороны представляеть для психолога задачу, исполненную высокаго интереса. Мы здёсь ограничиваемся только ея постановкой.

Въ заключение замѣтимъ, что разладъ геніальности съ другими сторонами натуры и ума, аналогичный тому, какой мы видимъ у Гоголя, долженъ быть признанъ явленіемъ далеко не исключительнымъ, не рѣдкимъ. При общей нестройности духа человѣческаго, всегда изобилующаго внутренними противорѣчіями, характеризующагося борьбою противоположныхъ стремленй, разладомъ, напр., между умомъ и чувствами, было бы настоящимъ чудомъ, если бы геніи составляли исключеніе и отличались бы внутреннею гармоніей и особливою согласованностью, созвучностью душевныхъ силъ.

Геніальность сама по себъ—не бользнь, но она—замѣтное «осложняющее обстоятельство» въ психикъ человъка.

Осложненія, ею вносимыя, отражаются благопріятно на общемъ укладѣ психики лишь въ тѣхъ, кажется, сравнительно рѣдкихъ случаяхъ, когда между геніемъ человѣка и другими сторонами его натуры и ума есть внутреннее — психологическое—сродство, когда и помимо геніальности его духъ широко открытъ для всѣхъ «человѣческихъ стремленій», и его умъ, свѣтлый и пытливый, бодро и радостно глядитъ впередъ а не назадъ, работая для грядущаго, по завѣту: «На поприщѣ ума нельзя намъ отступать»!

Такой примеръ гармоніи генія съ умомъ и некоторыми сторонами натуры являеть Пушкинъ, котораго не разъ вспоминали мы въ этомъ опыте, посвященномъ Гоголю.

## ПРИЛОЖЕНІЕ,

Источники и важнъйшія пособія для изученія жизни и творчества Гоголя.

Нижесльдующія указанія и замытки преднавначаются для лиць, впервые приступающихь къ систематическому изученію жизни и творчества Гоголя.

Въ основу такого изученія должно быть положено ознакомленіе съ текстомъ его произведеній въ томъ ихъ видѣ, въ какомъ они изданы подъ редакціей Н. С. Тихонравова и (по смерти послѣдняго) В. И. Шенрока 1).

Это изданіе по справедливости признается образцовымъ. Никто изъ нашихъ великихъ писателей, даже Пушкинъ, не изданъ съ такимъ совершенствомъ пріемовъ. Это-въ полномъ смыслъ слова издание критическое, сдъланное по всъмъ правиламъ научнаго изследованія текста по рукописямъ и предыдущимъ изданіямъ: въ немъ читатель найдеть варіанты и черновые наброски и имфетъ возможность проследить исторію различныхъ произведеній Гоголя; весь трудь, положенный имъ на переработку и усовершенствование формы, находится здёсь, если можно такъ выразиться, передъ глазами читателя. Въ приложеніяхъ пом'єщены прим'єчанія и даже цілыя изследованія, освещающія процессь творчества Гоголя и некоторыя стороны его личности. Авторъ этихъ примъчаній и изследованій, покойный профессорь московскаго университета и академикъ Н. С. Тихонравовъ, принадлежалъ къ числу нашихъ первоклассныхъ ученыхъ, -и этотъ трудъ онъ исполниль съ тъмъ же совершенствомъ научныхъ пріемовъ изученія, какими всегда отличались его замічательныя работы по

<sup>1) &</sup>quot;Сочиненія Н. В. Гоголя", подъ редакціей Н. С. Тихонравова. Москва 1889—1896 г.г.

PG 3011 08 1909 t.1 Ovsíaniko-Kulikovskiť, Dmitriť Nikolaevich Sobranie sochinenií t.1

PLEASE DO NOT REMOVE SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

